

КОНСТ. СЕДЫХ

Дачня

ИЗДАНИЕ 1928

4-11

Тупоносый об-
шак Пучки
я собрал пер
истории мои

Перевод
нозлов

16 ноября 19
г. Зиса.

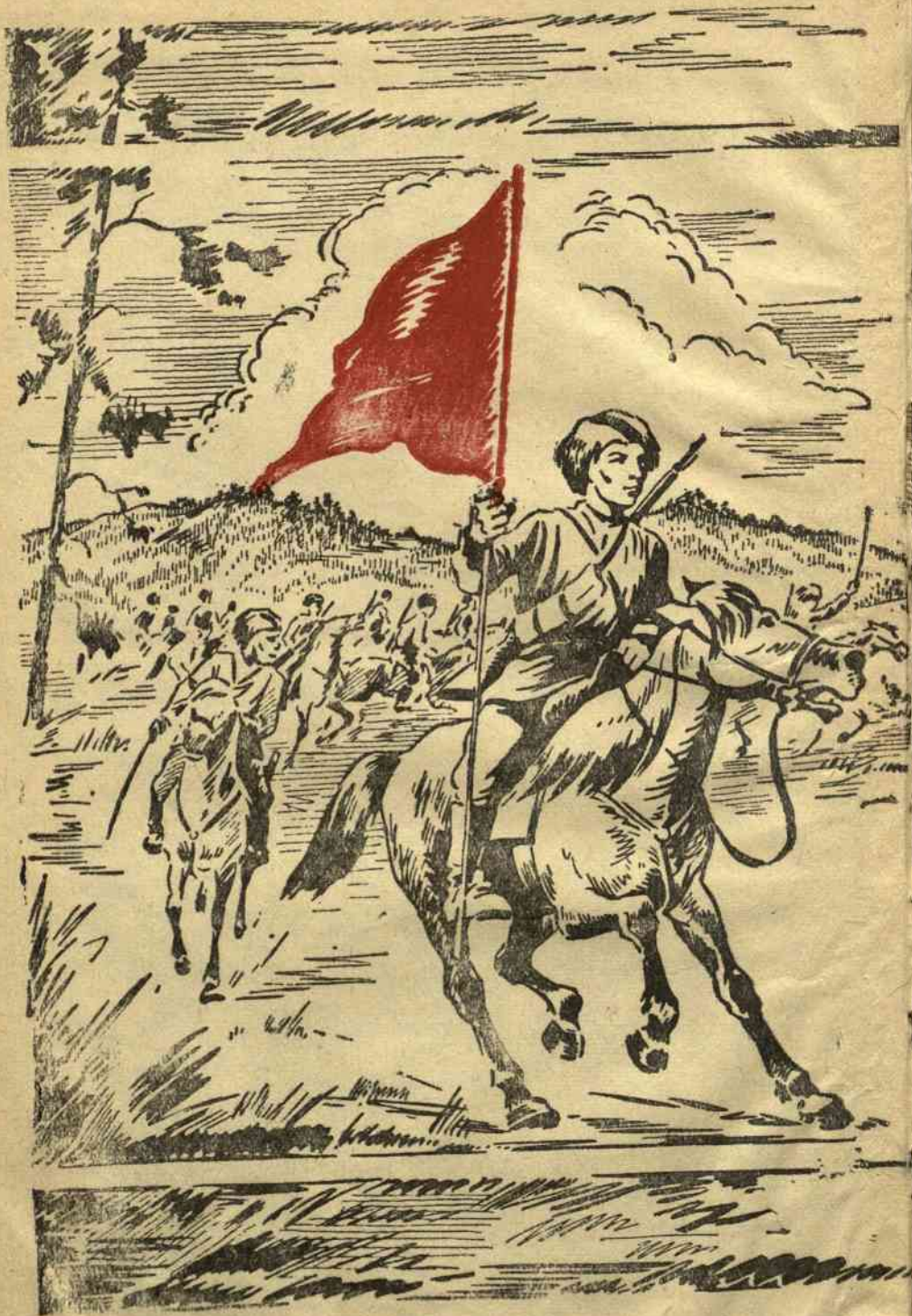
кн. 1751
К И Кримп-Т / Краф
+ II / Чича.
(+ кн. 147, 148. + III / 3.

05

2017

1. 1000 1000
2. 1000 1000

Д А У Р И Я



КОНС

Дач



1514
2012

ОГИЗ-ЧИТИ

K877
p2
C-38

404134

5705

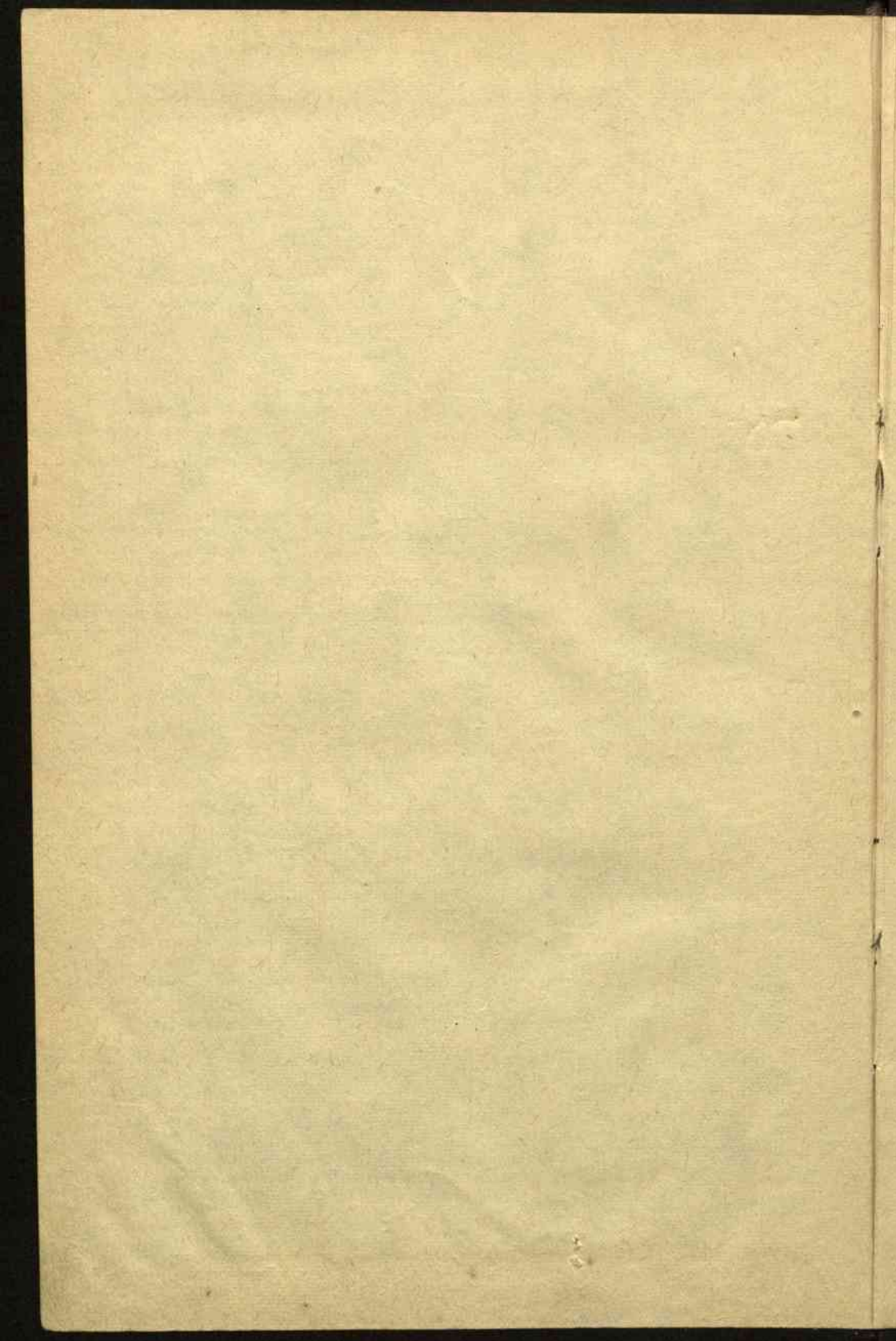
Читинская областная
Библиотека
Ф.С. 1
краеведения

2007 2021
2002

18



**ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ**



I

Зеленая падь широко и прямо уходит на юг, где сливаются с ясным небом величавые гряды горных хребтов. Впади, под тенистой навесью кустов черемухи и гладкоствольных верб, — голубой поясok неширокой извилистой Драгоценки. В кипрейнике и бурьянах правого берега — черные срубы бань, замшелые плетни огородов, тусклая позолота крытых тесом шатровых крыш. Из травянистого переулкa выбегает дорога, круто срывается в речку, переходит ее и лениво ползет на заречный, дымно синеющий косогор.

На западном краю поселка, у дорожных расстаней — высокий полосатый столб. На столбе — выбеленная солнцем доска. Она указывала раньше название поселка, численность дворов и жителей. Дожди и ветры уничтожили надпись. Только жирно и косо написанная восьмерка осталась в нижнем углу доски. За столбом — сопка с белой часовенкой на макушке, с редкими кустиками дикой яблони на южном склоне. У подошвы сопки щедро рассыпаны в болотном вереске и осоках серебряные полтины мелких озер.

Пятистенный дом Улыбиных у самой речки. Он глядит полуovalными, в желтых наличниках, окнами прямо на полдень. У окна, в огороженном дранками садике, вечно зеленые елки, игластая недотрога-боярка да воткнутые в квадратную грядку колья в хрупких колечках прошлогоднего хмеля.

В войну 1854 года отличился на Дальнем Востоке казак Андрей Улыбин. Англичане пытались высадить в бухте Де-Кастри, защищаемой нешей полусотней забайкальцев, десант морской пехоты, чтобы изгнать с Амура русских. Пока с судов английской эскадры, окутанных дымом пальбы, летели гранаты и бомбы, Улыбин лежал за камнями. Но едва

пальба утихла и к берегу понеслись, сверкая на солнце веслами и штыками, шлюпки десанта, он вместе с другим казаками выполз на рыжий обрыв у входа в бухту. Первым же выстрелом сбил он на передней шлюпке одетого в белый китель рослого офицера с подозрительной трубой в руках. Англичане в замешательстве повернули назад. За это и был Андрей Улыбин первым из забайкальского войска награжден георгиевским крестом и представлен к производству в урядники.

С Амурского Андрей Улыбин вернулся через два года. Принес он оттуда прибитую к берегу морем подозрительную трубу. Вся станица долго ходила к нему любоваться на заморскую диковинку, восхищаясь его боевой удачей. Жить бы ему дома да радоваться, но жить было нечем. Хозяйство его распоручилось, а родители умерли. Итти наниматься в работники он счёл для себя зазорным. Первый в войске георгиевский кавалер и вдруг — последний человек в родной станице! Лучше уж мыкать свою долю вдали от родимых мест. И Андрей Улыбин начал кочевую жизнь. Из таежных теснин нижней Аргуни скоро выбрался он на степное приволье верховых караулов, где лето и зиму пастухи богачей-скотоводов пасли на подножном корму неисчислимые косяки лошадей и отары овец. Долго пас он в монгольской степи за рекой Керуленом гулевых лошадей знаменитого на все Забайкалье чиндантского богача Шестакова, пока не свела его судьба с бывшим командиром их сотни подъяесаулом Темниковым. В тот год решил Шестаков узнать счет своему богатству. Все табуны и стада его были согнаны в начале сентября в широкую долину Онон-Борзи. Полюбоваться на это редкое зрелище прибыл из Читы с многочисленной свитой сам наказный атаман. С раннего утра до позднего вечера мимо кургана, на котором расположились под высоким белым шатром хозяин и гости, катились пёстрыми тучами овцы-монголки, двигался лес рогов, с тяжёлым топотом проносились гривастые кони, не знавшие узды. Померкло от пыли над степью солнце, почернела на много верст долина Онон-Борзи, словно прошел по ней яростный вешний пожар. Когда изумлённый всем виденным наказный атаман принялся выражать свое восхищение, Шестаков подарил ему на радостях двадцать рыжих и двадцать вороных жеребцов, а каждого из свиты осчастливил конём на выбор.

Темников, желая сказать приятное хозяину, громогласно сообщил за ужином, что видел среди его пастухов одну войсковую знаменитость. Наказный атаман, узнав, что этой

знаменитостью является первый георгиевский кавалер высочайше вверенного ему казачьего войска, пожелал увидеть Улыбина и вскользь заметил:

— Такой казак и ходит по работникам. Прискорбно, прискорбно...

Шестаков принял замечание властного гостя на свой счет, вспыхнул и начал оправдываться:

— Не знал я, ваше превосходительство... Если вы только разрешите...

— Ничего, ничего, дорогой хозяин... Надеюсь, мы это исправим, — перебил Шестакова наказный.

Когда Улыбин появился в доме и замер навтыяжку у порога, наказный изволил милостиво поговорить с ним, а потом небрежно, желая показать свою щедрость, подал ему две двадцатипятирублевые бумажки:

— Вот тебе, братец, от меня за храбрость, — и, видя растерянность Улыбина, весело добавил: — Бери, братец, не робей, рука у меня легкая.

Примеру наказного вынуждены были последовать и другие гости.

Через год Андрей Улыбин, истосковавшийся в песчаных степях Керулена по тайге, переселился в поселок Мунгаловский, расположенный на грани лесов и степей. Мунгаловцы, многие из которых знали Улыбина по амурскому походу, приняли новосела радушно. Скоро женился он на красивой и статной девке из семьи казака-старовера. Человек он был работящий и к тому же крепкого на зависть здоровья. Подстать ему оказалась и молодая хозяйка. И житье у них стало постепенно налаживаться. В трудах и заботах годы текли незаметно. Не успели оглянуться они, как стали три сына женихами, а дочь невестой.

По праздникам ходил Андрей Григорьевич в поселковую церковь, всегда в окружении сыновей. По правую руку от него шел большак Терентий, румяный, как девушка, казачина, песенник и гармонист; по левую — степенно вышагивал белокурый, слегка сутуловатый Северьян. И, замыкая шествие, ступая след в след отцу, высоко нес чубатую голову меньшак Василий, грамотей и отцовский любимец. Приятно было Андрею Григорьевичу пройти с такими молодцами по улице, людей посмотреть и себя показать. Думал он спокойно дожить до старости, но жизнь повернула по-своему.

Подоспело время провожать на действительную службу Северьяна. Обычно мунгаловцы служили в пеших батальонах, разбросанных в пограничных с Китаем станицах. Но

Северьяна взяли служить во вновь формировавшийся конный Аргунский полк. На строевого коня и обмундирование пришлось поистратиться. Еле-еле хватило на справу двух быков и сусека пшеницы. Прореха в хозяйстве получилась заметная. Не успели Улыбины заштопать ее, как началась война с Китаем. В самый разгар сева был мобилизован и ходивший в запасных первой очереди Терентий. А через три недели пришло закапанное слезами письмо Северьяна, в котором сообщал он, что Терентия убили в бою под Абагайтуевским караулом.

«...Похоронил я с товарищами родимого своего брата Терентия Андреевича, — писал Северьян, — на чужой стороне, на берегу озера Джалайнор, а крест на его могилу пришлось делать из железнодорожных шпал».

Почернел от этой вести Андрей Григорьевич. За одну ночь приметно осунулось его лицо, глубже легли морщинки у глаз. Повинным в смерти сына считал он в первую голову себя. На проводинах Терентия, подвыпив, наказывал он ему: «Либо голова в кустах, либо грудь в крестах. Нашей родовой не срами». Понял он на старости лет ту горькую истину, что легче умереть самому, чем узнать о смерти сына. Больше всего его убивало, что зарыт Терентий без гроба и панихиды, в чужой земле. «Никто его там, родимого, не попроведает, цветка на могилу не посадит», — горевал он втихомолку.

Равнодушный ко всему, с воспаленными от бессонных ночей глазами, стал просиживать он по целым дням на лавочке за оградой, крепко сцепив ладони на поставленном промеж ног суковатом посохе. Сидел и все поглядывал на заречную сторону, где вилась убегавшая за увалы дорога, по которой должен был возвратиться с чужбины Северьян. Позовут его семейные чай пить, рукой машет, отвяжитесь, мол. Подойдет обед — и та же история. Повеселел Андрей Григорьевич, когда вышло замирение. Но не отслужил Северьян действительной, как подоспела новая война, куда посерьезней китайской. Пришлось Андрею Григорьевичу снарядить на службу и последнего сына. Осталось его хозяйство без головы. За всем приглядывать, со всем управляться пришлось им вдвоем с малолетним внуком Ромкой, первенцом Северьяна. Солоно им доставался этот догляд, а толку все равно не выходило. Известно, какая сила у стариков и сметка у ребятишек. В том году пережил Андрей Григорьевич еще одну утрату — смерть жены. Умерла она в одночасье. Села после ужина за прялку, повернулась неловко, ойкнула, и хлынула у нее из горла кровь.

Пусто и неприглядно стало в улыбинском доме. Не подымались у Андрея Григорьевича на работу руки.

Приободрился он только, когда перестали воевать с японцем и вернулся домой Северьян. Истосковавшийся по работе, крепко взялся Северьян за хозяйство. Всякое дело спорилось у него в руках. И постепенно принимала улыбинская усадьба прежний вид.

Довольный Андрей Григорьевич коротал на улице досужее время да приглядывался к соседским девкам. Загодя выбирал он невесту для Василия, обещавшего через год возвратиться домой.

Службу свою Василий отбывал в Чите писарем войсковой канцелярии. До зимы 1905 года Василий аккуратно писал отцу. Но потом — как отрезало. Целых полгода напрасно ходил старик к поселковому атаману справляться о письмах и терялся в догадках, не зная, как истолковать молчание сына.

Выяснилось все, когда вернулся из Читы сослуживец Василия, орловский казак Масюков. От Масюкова и узнал Андрей Григорьевич, какая беда приключилась с сыном. Забрали Василия во время внезапного обыска в общежитии писарей. Нашли у него под тюфяком пачку революционных прокламаций. Произошло это в дни расправы над забастовщиками карательных экспедиций Ренненкампа и Меллер-Закомельского.

Потрясла Андрея Григорьевича эта черная весть. Не гадал он, не чаял, что когда-нибудь свалится на его голову такое несчастье. Много испытаний сулило оно семье Улыбиных, много обид и наветов. Но не проклинал его старик, а жалел идущей наперекор всему родительской жалостью. Ни разу не пришла ему в голову мысль отречься от сына, хотя бы только для виду, чтобы сохранить свое положение заслуженного и уважаемого человека. Поддерживало его в этой решимости убеждение, что попал Василий в тюрьму по какой-то досадной случайности.

Но люди рассуждали иначе. «Ни с того, ни с сего людей не хватают», — говорили они. Арест Василия был для них равносителен доказательству его вины. И многие посельщики начали сторониться Улыбиных. Пример этому показал купец Чепалов, переставший отпускать им товар в кредит. Не отстал от него и священник отец Георгий. В престольный праздник разразился он в церкви проповедью о забастовщиках и смутьянах, прозрачно намекнув на одного убеленного сединою почтенного старца, не сумевшего наставить своих детей на путь служения царю и отечеству.

Незадолго перед этим Северьян Улыбин был избран одним из уполномоченных на станичный круг для выборов нового

атамана. Богатые казаки потребовали тогда созвать неочередную сходку и добились на ней, чтобы Северьяна заменили другим человеком. Это был жестокий удар, нанесенный самолюбию Андрея Григорьевича. Как оплеванный, ушел он со сходки, на которой принадлежали ему раньше лучшее место и первый голос. С тех пор не переступала его нога порога сборной избы. Даже на соседской завалине, где собирались по праздникам старики, не видели его целое лето. Редко появлялась на людях и его семья, хотя далеко не все посельщики чуждались её.

Так прошло около года.

Однажды, когда горевал Андрей Григорьевич на лавочке у ворот, подошёл к нему сосед Герасим Косых. Не успев поздороваться, сказал:

— Нынче я, дедушка, вашего Васюху видел. На каторгу его гонят.

Андрея Григорьевича так и подкинуло на лавочке.

— Да что ты говоришь?.. Где же это? — задыхаясь от внезапного сердцебиения, спросил он хриплым голосом.

Герасим снял с головы фуражку, не торопясь обмахнулся ею и только тогда начал рассказывать:

— Я ведь нынче в станицу ездил... Подъезжаю к поскотине, а с другой стороны к ней партия каторжан подходит. Свернул я с дороги, остановился пропустить их. А тут меня и окликнули: «Здравствуй, Герасим». Повернулся я на голос и обмер: идет по дороге ваш Василий, кандалами названивает и, глядя на меня, посмеивается. Сразу я его узнал, хоть и отрастил он бороду. Лоб-то ведь у него приметный, крутой и бровищами бог не обидел, на тыщу людей одни такие брови попадаются, как две метелки над глазами. Меня, конечно, по сердцу будто ножом резануло и горло слезой перехватило. Отвечаю ему: «Узнал, брательник, узнал». Тут-то на меня конвойный начальник и рявкнул: «Не смей, такой, сякой, разговаривать! Проезжай давай!».

Поехал я, а Васюха успел мне вдогонку крикнуть: «Покля от меня нашим передай...» Так вот повстречались мы и разминулись.

Андрей Григорьевич потер кулаком глаза, тяжело вздохнул:

— Исхудал, однако, Василий?

— С лица он шибко бледный, а глаза, как у парнишки, озорные.

— Не приметил, куда их от Орловской погнало?

— Надо быть, в Кутомару. За поскотиной они с тракта направо свернули...

Через неделю Андрей Григорьевич и Северьян, попустившись сенокосу, собрались в Кутомару. Приехав туда, сразу же отправились к начальнику тюрьмы Ковалеву просить о свидании с Василием. Узнав, кто его посетители, не стал Ковалев и разговаривать с Улыбиными, а накричал на них и велел немедленно убираться из Кутомары.

Вернулись они домой, не повидав Василия. Довелось Андрею Григорьевичу свидеться с ним только на следующий год, когда на прииск Шаманку из Горного Зерентуя и Кутомары пригнали работать партию каторжан. Мунгаловцы, часто возившие в Шаманку на продажу дрова, скоро заметили своего земляка, а самые отчаянные даже ухитрились перебраться с ним словечком.

Однажды Андрей Григорьевич повез продавать в Шаманку дрова, надеясь увидеть Василия хотя бы издали.

Каторжане работали на дне глубокого разреза у покрытого льдом искусственного озера. Вокруг них, на рыжих отвалах, опершись на винтовки, стояли конвойные солдаты в полушубках и черных папахах. В разрезе дымно пылали на мерзлой земле костры. Время от времени подбегали к ним погреться каторжане в серых суконных шапках. Тут же надзиратель-приёмщик с деревянной саженью в руках принимал от казаков дрова и отгонял прочь каторжан, подходивших слишком близко.

Андрея Григорьевича изрядно прохватило мартовским утренним холодком. Когда он договорился о цене и стал складывать дрова на отведенное приёмщиком место, пальцы отказывались гнуться. Редкое полено не валилось у него из рук. Приёмщик беззлобно пошутил над ним:

— Эх, старик, старик! Погнала же тебя нелегкая с дровами. Тебе на печи лежать надо, а ты торговать пустился.

— Нужда-то не свой брат, — попробовал улыбнуться Андрей Григорьевич, все время искавший глазами Василия. Надзиратель сжалобился:

— Иди, дед, к огню, погрейся, а я пока с другими займусь...

Василий, давно приметивший отца, зорко наблюдал за ним, стараясь быть к нему поближе. Когда он подошел к костру и, сняв рукавицы, протянул к огню растопыренные пальцы, Василий поспешил туда же. Он стал на противоположной стороне костра, и, чтобы унять волнение, начал ожесточенно потирать над огнем руку об руку. Отец рванулся к нему, но он предостерегающе приложил палец к губам. С трудом отглотнув подступивший к горлу комок, негромко, чтобы не привлечь внимание ближайшего солдата, сказал:

— Ну, здравствуй, отец!

— Эх, Васюха, Васюха, — не удержался, заплакал Андрей Григорьевич. Горько было ему видеть любимого сына в арестантской одежде. — Вот как свидеться-то довелось, — и почувствовал, что земля поплыла из-под ног.

— Ничего, все будет ладно, дай срок. — донесся до него, как из тумана, напряженный голос Василия. — Как живете-то?

— Наша жизнь известная... А вот ты как? За что осудили тебя?..

Ответить Василий не успел. Солдат, заметив, что он разговаривает со стариком, вскинул на него винтовку искомандовал:

— Уходи! Стрелять буду!

Василий бросился от костра. Медлить было нельзя. Солдат мог и выстрелить. Такие случаи бывали не раз. Андрей Григорьевич, насилу сдерживая рыдание, глядел вслед сыну и не замечал, что рукав его полушубка тлеет и дымится.

Солдат спустился с отвала, подошел к Андрею Григорьевичу.

— Ты зачем, борода, с арестантами разговариваешь? Порядка не знаешь? Позову разводящего, так достанется тебе на орехи... Да ты обалдел, что ли? У тебя ведь весь рукав обгорел.

Андрей Григорьевич схватился в замешательстве за рукав, обжег пальцы и начал снимать полушубок. Солдат, скаля зубы, допытывался:

— Арестант тебе не родня случаем? Недаром, однако, ты рукав сжег?

— Сын он мне, — с решимостью отчаяния выпалил Андрей Григорьевич и пошел на солдата, выпятив свою квадратную нестариковскую грудь. — Стреляй меня, коли, если рука подымется!

Солдат испуганно отшатнулся, побледнел и, понизив голос, сказал:

— Ладно, папаша... Ты ничего не говорил, я ничего не видел. Только уходи скорее. Вон разводящий идет.

Андрей Григорьевич поспешил к своему возу. Увидев его сожженный рукав, приёмщик расхохотался:

— Вот это погрелся. Так еще разок погреешься, без шубы домой приедешь...

Тяжелее прежнего стало у Андрея Григорьевича на сердце после такого свидания с сыном. Сам он больше не стремился взглянуть на Василия. Не хотелось растравлять себя понапрасну. Но Северьяна отправлял в Шаманку с дровами

несколько раз. Только летом, когда «казна» не покупала дров прямо в разрезах, увидеть Василия можно было лишь во время переходов каторжан с работы на работу. При таких встречах нельзя было перекинуться ни единым словом. После первого снега казенные работы прекратились, и каторжан разогнали зимовать по тюрьмам. А на следующий год Василий почему-то совсем не попал в Шаманку. И Улыбины стали как-то свыкаться с мыслью, что еще долго им не видеть его. Со временем у Северьяна и его семьи более свежие заботы стали заслонять заботу о судьбе Василия. Но Андрей Григорьевич думал о нем постоянно. И от этого здоровье старика стало еще больше сдавать. Мучила его одышка, бил по ночам кашель, ныли к погоде кости. Исчезла куда-то и его молодцеватая походка, поуже стала грудь и не так-то просто стало залезать на печь, которая теперь по-особенному полюбила Андрею Григорьевичу. «Видно и помру, не дождавшись сына с каторги, — горевал старик на печи, тоскующими глазами наблюдая за спящими по потолку тараканами.

II

Над синими силуэтами заречных хребтов, в желто-рудых просторах рассветного неба, лежали, похожие на гигантских рыб, сизые облака. По краям облаков играли алые блики — предвестники солнца. От Драгоценки тянул знобкий утренний ветерок.

На выкрашенное охрой, в точеных перилах крыльцо вышел, позевывая, сутулый и желтоусый Северьян Улыбин. У него побаливала в это утро пробитая японской пулей нога. Почесав волосатую грудь, повздыхав, грузно протопал он по ступенькам крыльца.

Под крытою камышом поветью, в тени, понуро стояли дремлющие Гнедой и Сивач. У омета прошлогодней соломы лежали два круторогих быка. На одутловатых бычьих боках холодно поблескивала роса. Северьян прошел в сени. Поплевав в широкие мозолистые ладони, привычно взялся за вилы-тройчатки. Кони подняли головы, оживились. Шумно сопя и отряхиваясь, встали с соломы быки. Там, где они лежали, тоненько вился синий пар.

Пока Северьян кидал им хрусткое, пахнущее медом сено, с крыльца спустился в ограду Роман, невысокого роста, смуглый и круглолицый крепыш. Из-под выцветшей с желтым околышем старой отцовской фуражки на загорелый романов лоб выбивалась темнорусая прядка чуба. Полуприкры-

тые ободками длинных и темных ресниц полыхнули озерной синью его глаза, когда он вприщур поглядел на солнце, встающее из-за хребтов.

Одет был Роман в вышитую колосьями и васильками, много раз стиранную рубаху, туго стянутую наборным ремнем. Широкие из китайской далембы штаны были заправлены в ичиги, перевязанные пониже колен ремешками. На концах ремешков болталась пара сплюснутых, с тупыми концами пуль.

Закинув за голову руки, Роман потянулся, улыбаясь ни-весть чему. Северьян глядел на него и самодовольно покашливал. На мгновение ему показалось, что это стоит и потягивается не Ромка, а он сам, когда ему было девятнадцать лет.

Роман подошел к столбику коновязи, снял сыромятный недоуздок и оживленно спросил:

— Куда поедем, пахать или по дрова?

— Нет, — глухо отозвался, пряча ласковую усмешку в усах Северьян. — Я сегодня у Сафрона в кузнице сошник наварю. Договорился я с ним вчера. А ты поедешь за Машкой. Надо ее, паря, из косяка домой пригрудить. Ей ведь вот-вот пора опростаться. Пусть это время дома поболтается, а то как бы жеребенка не решиться...

У Улыбинных в косяке купца Чепалова гуляла трехгодовалая кобыла Машка. По расчетам Северьяна, Машка скоро должна была обзавестись потомством. Жеребенка от нее нетерпеливо ждали в семье все, начиная от деда Андрея и кончая белоголовым семилетком Ганькой. Кобылу водили слушать в станичную конюшню с породистым жеребцом-иноходцем. И теперь в беспокойных хозяйских мечтах Улыбины видели себя обладателями резвого иноходца, о котором с завистью и восторгом будут говорить по всей Аргуни.

— На каком коне поеду?

— На Гнедом придется. Сивач тот что-то на переднюю ногу жалится. Перековать его, однако, надо... Чай пил?

Роман мотнул головой.

— Тогда сгоняй попить, да и отправляйся с богом. Только смотри, не летай сломя голову. Увижу — семь шкур спущу...

Роман ничего не ответил.

У Драгоценки радостно пахли распутившиеся вербы, гляделся в воду никлый старюка-камыш. Вровень с кустами стлался над заводами волнистый туман. На фашинном гребне мельничной плотины в подсученных выше колен штанах стоял Никула Лопатин, низкого роста, скуластый и гололицый, любивший поговорить казак. Роман поздоровался с ним.

— Чего ни свет ни заря поднялся?

— Морда у меня поставлена. Вытаскивать собрался, да вода дюже холодная. Ну, попробую...

Никула перекрестился и побрел в воду, зябко подрагивая всем телом, и тоненько, по-бабьи, вскрикивая:

— И какая тебе неволя мерзнуть?

— Э, паря, не знаешь ты моей Лукерьи! Захотела рыбки — вынь да положь.

Никула ухватился за торчавший из воды березовый кол, потянул. Частая, плетеная из таловых прутьев морда вынырнула из воды, медленно кружась на месте.

Никула поднял морду, встряхнул. Гривнами сверкнула в ней рыбья мелочь. Вытащив морду на сухое, вынул из горловины ее травяную затычку. В котелок из красной меди высыпались корки хлеба и бисерные гальяны.

— Вот и уха будет, а ты говорил...

Докончить он не успел. Большой табунок чирков со свистом пронесся над ними и круто упал в камышевой старице. Невнятно всплеснулась в той стороне вода...

— Близо уселись, — по звуку определил Никула. — Надо бы мне дробовик с собой взять! — И вдруг напустился на Романа:

— А ты чего стоишь, голова садовая? Я бы на твоём месте живо за ружьем сбегал да и ухлопал парочку.

Роман повернулся на одной ноге и кинулся с плотины, подхватив на бегу слетевшую с головы фуражку.

В кухне, на обитом цветной жёстью красном сундуке, переобувался отец. В кути орудовала ухватами и чугунами мать, а дед Андрей с Ганькой сидели за самоваром. Увидев в дверях Романа, все переполошились. Авдотья опрокинула чугунок с водой.

— Что стряслось?

— Утки там... За ружьем я...

— Ну и бешеный, напугал всех. А заряды у тебя припасены?

— Вчера у Тимофея Косых занял.

В горнице на ветвистых рогах изюбря, прибитых к простенку, висел пистонный дробовик. Роман торопливо схватил его и, рассовав по карманам мешочки с порохом и дробью, побежал на речку.

— С той стороны скрадывай. Там место способное, — махнул Никула рукой на заречье.

По зеленеющим кочкам добрался Роман до старицы. Не жалел штанов и рубахи, пополз на курчавый разлапистый куст черемухи. Осторожно раздвинув ветви куста, обмер:



утки дремали на розовой воде в двадцати, не более, шагах. Трясущимися руками он взвел курок. Неожиданно для самого себя нажал спуск. Широко развернув перебитые крылья, четыре утки ткнулись зелеными клювами в воду, медленное течение закружило их...

В ограде Романа встретил отец, полюбовался на уток, похвалил:

— Молодцом, молодцом... Давай я их матери снесу. А ты седлайся да поезжай...

Роман достал из амбара казачье седло с бронзовыми инициалами отца на передней луке, смахнул с него веником мучной бус, набил в седельную подушку ветоши и стал седлать Гнедого. Когда, поигрывая витой нагайкой, выезжал из ограды, Северьян распахнул окно, навалился грудью на подоконник и хрипло крикнул:

— Помни, Ромка, о чем мой сказ был, а то лучше глаз домой не кажи!

— Ладно, — отозвался сын и огрел Гнедого нагайкой. За Драгоценку, на выгон, он поехал не сразу. Крупным аллюром, избоченясь в седле, промчался через всю Подгорную улицу. Нагайкой отбивался от рослых свирепых собак. С остервенелым лаем выбегали они на дорогу, норовили схватить Гнедого за ноги. Только проехав училище и голубую нарядную церковь на бугре у ключа, свернул в проулок.

...У Драгоценки, на берегу, босоногие девки в высоко подобранных юбках толкли в деревянных, похожих на большие рюмки ступах пшеницу, которую тут же полоскали решетами в речке, и сушили на полосатых холостинах. Около телеги с поднятыми вверх оглоблями обливался молочным паром начищенный до блеска пузатый полутораведёрный самовар. Высокая сгорбленная старуха в малиновом повойнике сутилась у телеги. Она выкладывала из берестяных турсуков на махровую скатерть пышные булки, узорчатые фаянсовые стаканы, блюдца и туески с молоком.

— Бог на помощь! — набравшись смелости, поприветствовал девок Роман, небрежно похлопывая нагайкой по голенищу. Девки дружно, наперебой зашебетали:

— Заезжай к нам, чаем попотчуем.

— Некогда, а то бы с удовольствием.

— Да ты постой, постой, — бежала к нему Дашутка Козулина, румяная, туго сбитая деваха с карими насмешливыми глазами. Она придерживала на бегу длинную каштановую косу, переброшенную на грудь, и смеялась, показывая влажно блестящие на солнце зубы.

Роман натянул поводья, остановился.

— Что за дело у тебя ко мне завелось? — скрывая внезапно охватившую его радость, с напускным безразличием спросил Роман, давно отличавший Дашутку из всех поселковых девчат.

— Да уж завелось. Слезай с коня, на ухо скажу... — сыпала торопливым говорком Дашутка, и в больших глазах ее посверкивали озорные искорки.

— Не глухой, с коня услышу. Сказывай, а то мне ехать надо.

— Да ты постой, постой.

— Вот еще, стану я стоять, — недовольно говорил Роман, а сам потуже натягивал поводья, не собираясь уезжать.

Дашутка схватила Гнедого за поводья, повисла на них. «Вот зараза», — восхищенно глядел на нее сразу вспотевший Роман и не заметил, как с другой стороны подкралась к нему с ведром воды Агапка Лопатина. Ловко размахнувшись, окатила она Романа с головы до ног. Гнедой, словно попала ему под седло колючка, яростно взмыл на дыбы и понес. Роман едва удержался в седле.

— Ах, так вот вы как! — разобиделся он на девок. — Теперь я с вами разделаюсь. А с тобой, Дашка, с первой.

Он низко пригнулся к луке, пронзительно гикнул и в намет полетел на девок. Они с визгом и хохотом бросились в кусты. Самые отчаянные отбивались от него хворостинами и пестами, плескали в морду Гнедому воду. Но, минуя их, Роман гнался за Дашуткой. Она бежала к заброшенной мельнице, и коса ее билась по ветру. У самого мельничного колеса он догнал ее, схватил за руку. Дашутка, тяжело дыша, сбернулась. Он с силой рванул ее к себе, так что треснула на ней сарпникова кофта, нагнулся, обхватил поперек и кинул в свое седло.

— Попалась, голуба! Теперь я тебя купать буду.

Он двинул Гнедого ичигом в бок, с крутого берега съехал в воду. Дашутка, всхлипывая, закрывая платком глаза, билась в его руках. И нельзя было понять — плачет она или смеется. Роман, зачерпнув в ладонь воды, вылил ее Дашутке на шею. Она ахнула и стала просить:

— Отпусти, Ромка. С тобой пошутили, а ты взаправду. Шутки не понимаешь. — Она рванулась и поняла, что не вырваться. — Да отпусти же, леший. Кому говорят?

— Не отпущу... Перепугалась, небось? — заглядывал он ей в глаза и, забыв про обиду, довольно посмеивался.

— Чуть руку не оторвал мне, — жаловалась, прижимаясь к нему, Дашутка. — Да что же ты меня держишь? Сейчас же отпусти!..

Роману хотелось ее поцеловать, но, испугавшись своего желания, он поторопился выехать на берег и спустил Дашутку на землю.

Не оглядываясь, поехал он в бугор. Выжимая на берегу замоченную в речке юбку, Дашутка пустила вдогонку:

— Эх, Ромка, Ромка, худой из тебя казак!

— Ладно, в другой раз не попадайся.

— Не попадусь. А попадусь, так вырваться — раз плюнуть.

— Посмотрим, — прыгнув с седла, ответил Ромка. Пока подтягивал чуть ослабевшие подпруги, слышал, как потешались девки над Дашуткой.

— За что это он тебя пожалел, не выкупал?

— Откупилась, поди, чем то?

— И как он ее такую колоду на седло вскинул!

Дашутка со смехом отшучивалась:

— Как же, стану я откупаться. Не на такую напал.

— А пошто не вырывалась?

— Вырвешься от такого, как же. Он мне все кости чуть не переломал...

— Будет вам, халды!.. Раскудахтались. Работа-то ведь стоит, — оборвал девичью веселую перепалку злой, скрипучий голос старухи. И сразу же тупо и мерно застучали песты, зашумела в решетах пшеница.

III

За излуками Драгоценки начинался выгон — тысячи десятин целинного, отроду непаханного простора. Многоверстная покотина вилась по мыскам и увалам, охватывая замкнутым кольцом зеленое приволье, где отгуливались казачьи стада. Белесый ковыль да синий, похожий на озера, покрытые рябью, острец — застилали бугры и лощины.

Роман пустил Гнедого в намет. Он любил скакать в степную необозримую ширь. Смутно видимую вдали покотину сразу вообразил он идущей в атаку пехотной цепью, а березы зелеными знаменами, развернутыми над ней. Вместе со скачкой к нему всегда приходили мечты, упорительная игра в иную, выдуманную жизнь, где любое дерево и камень ширились, росли и могли превращаться во что угодно. При всяком удобном случае погружался он с радостью в беспредельный мир своей выдумки. Никогда ему не было скучно наедине с самим собой. Сбивая нагайкой дудки седого метельника, упрекал он себя: «когда я оркестр. Надо было ее поцеловать. И как я раньше не замечал, что она такая отчаянная».

Южный ветер бил ему прямо в лицо, степь пьянила запахом молодой богородской травы, и запел он старую казачью песню:

Скакал казак через долину,
Кольцо блестело на руке,
Кольцо от той, кого покинул
Для службы царской вдалеке.
Кольцо красotka подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила:
— Твоею буду через год.

Косяк он нашел не скоро. Солнце стояло уже прямо над головой, когда меж клыковидных утесов, в распадке, у ручья увидел он около тридцати разномастных, монгольской низкорослой породы, кобылиц. Вислоухий и белоногий чепаловский жеребец Беркут стоял на пригорке, разглядывая подъезжающего человека.

Роман выехал на пригорок. Беркут тупо стукнул некованными копытами, повернулся, пошатываясь, побрел к косяку. Вид у него был усталый, словно сделали в эту ночь на нем непосильный пробег. «С чего он такой вялый?» — подумал Роман. — «Захворал, никак». Он догнал жеребца, объехал вокруг и заметил на правом его предплечье, вершка на два пониже шеи, косую, рваную рану. Когда Беркут шагал, рана раздвигалась, показывая матово-белый комок плечевого мускула. «Да, его, кажись, волк хватил. Вот незадача. Все ли у него в косяке ладно?» Роман спустился с пригорка, внимательно разглядывая косяк. Машки не увидел. «Где это она? В кустах разве?» Он направил коня в тальник на берегу ручья, едва опущенный длинной и узкой листвой. Кобылиц там не было.

— Машка! — громко позвал он и ждал ее ответного ржанья. Но только короткое, равнодушное эхо повторило его голос в знойных голых сопках. Потрясенный косяк перешел на противоположный берег и медленно стал удаляться на залежи к сопкам. И тут только страшная догадка защемила романоно сердце. Из рук его выпали поводья. Он вдруг почувствовал, что нестерпимо хочет пить. Долго искал удобного места, чтобы напиться. И пока искал, по-непривычному напряженно размышлял: «Разве к другому какому косяку отшатнулась? Экое горе! Дождались, выходит, жеребенка. И какой чорт дернул тятю спустить Машку под Беркута? Теперь вот ищи, свищи...»

Отыскав подходящее место, Роман тяжело, по-стариковски слез с Гнедого. Нагнулся, зачерпнул фуражкой воды. Пил много и долго. Потом сердито крикнул на тянувшегося к траве Гнедого:

— Ну ты, ирод, пошали у меня!

От ручья поскакал вверх по распадку туда, где стоял у подножья крутого хребта зубчатый Услонский колок, черный и мрачный, заросший даурской березой, пахучими лиственницами, ольхой. По ночам из колка доносился заунывный волчий вой, который часто слышал Роман, возвращаясь с игрищ. Сейчас он прошел бы этот колок вдоль и поперек, но за версту объехал бы ночью. И не волков он боялся, а старинной заброшенной шахты, заваленной камнями и лесом. В той шахте были похоронены казаками в стародавнее время обитатели тунгусского стойбища, вымершего от чумы.

На дорожной развилке, печалю путников, горюнился белый крест. Желтыми свечками горели кругом в траве цветы стародубки, жаворонок трепетал над ними. Здесь в прошлом году погиб внезапно-негаданно товарищ Романа — Федюшка Козлов. Федюшка тоже искал косяк. При спуске с крутого, изрытого тарбаганьими норами косогора ослабели у седла подпруги. Вместе с седлом свернулся Федюшка под брюхо коня. А конь был горячий. Запутавшегося в стремени парня понес по камням и бутанам, лягая кованными копытами. На развилке выскользнула из стремени нога, и остался лежать он под кустиком жесткой кислицы. Всю ночь искали тогда Федюшку. Только утром наткнулся на белую брезентовую фуражку его Роман. Немного подальше подняли нагайку с переломленным черенком и выпавшую из кармана расческу. А потом нашли и Федюшку на темном от крови песке.

Перевалив через каменистый взлобок, еще издали увидел Роман на закрайке колка темный круг. Круг ярко выделялся на плюшевой, залитой солнцем зелени. Был величиной он с небольшой гумennyй ток. Посредине его что-то белело. Подъехал ближе и понял: белел ободранный конский остов. На нем дремали жирные черные коршуны и пузатые вороны. Завидев человека, птицы нехотя взлетели. Коршуны стали плавно забирать в высоту, к опаленным кремневым утесам. Вороны, глухо каркая, низко и медленно полетели в колок, где чернели на лиственницах шапки гнезд. По клочкам золотистой рыжей шерсти, по уродливому копыту задней ноги узнал Роман, чьи это кости. Он тоскливо поглядел на пламенеющие на солнце бесплодные гребни сопки, на пасмурный колок, словно искал сочувствия. Но сопки были равнодушны к его горю, а колок враждебно и глухо шумел. Вороны карканьем

дразнили Романа. Уши Гнедого стали торчком, он потянул ноздрями воздух, понюхал выбитую траву и, тревожно всхрапнув, шарахнулся прочь. Роман от неожиданности чуть было не вылетел из седла. Гнедой не успокоился, пока не отъехали подальше. Но и там он все время поднимал уши, вздрагивал и рыл копытом песок, не переставая всхрапывать. Роман ласково трепал его потную шею и, совсем по-отцовски, горестно сетовал: «Где тонко, там и рвется. У богачей десятки кобыл гуляют в степи и ничего им не делается. А тут одну-единственную волки съели. Такие уж мы, Улыбины, злосчастные. Нет нам ни в чем удачи. В прошлом году пшеницу градом выбило, корова в болоте утонула, а нынче, вот, Машки решились». Взглянув в последний раз на то, что осталось от Машки, поехал обратно.

Домой он вернулся на закате. Любил он, подъезжая к поселку в солнечный ясный вечер, разглядывать его черемуховые сады, жарко сияющие маковки церковных крестов, крытые цинком и тесом крыши, прямые и широкие улицы. Мычание телят и щебет ласточек, запах дымка и дегтя—все радовало его на родной земле. Но сейчас он не мог взглянуть на нее попрежнему, доверчивыми глазами. Он смутно сознавал, что чем-то жестоко обманула его жизнь в этот день. Неприветливо здороваясь по дороге с возвращающимися с пашен посельщиками, подъехал он к своей ограде, в которой верхом на таловом прутике встретил его босоногий Ганька.

— Где же, братка, Машка? Пошто ты ее не пригнал? Целый день проездил и не пригнал. Тятя говорит: «Я ему дам...»

— Нет у нас теперь Машки. Съели Машку волки.

Ганька бросил таловый прутик, всхлипнул и кинулся в дом. И не успел Роман еще сойти с коня, как на крыльцо выбежали Северьян и Авдотья с подойником в руках. За ними ковылял Андрей Григорьевич, опираясь на суковатый костыль. Выслушав Романа, старик замахнулся костылем на Северьяна, перемогая одышку, закричал:

— Я тебе говорил... Я тебе сколько раз говорил, что не надо жерёбую кобылу в косяк пускать. Так нет, по-своему сделал. Выпорол бы я тебя, желтоусого, кабы силы моей хватило!

— Ладно, не кричи ты, ради бога.

— Что?.. Да как ты смеешь с отцом так разговаривать? Не ворочай рожу на сторону, повернись ко мне...

Северьян нехотя повернулся к нему, заметно выпрямившись. Дожив до седых волос, он все еще потрухивал Андрея Григорьевича. Но сегодня не удержался, сказал:

— Тут и без тебя муторно.

— То-то и есть, что муторно, — закипятился пуще прежнего Андрей Григорьевич, — такой кобылы решиться не шутка. Своевольничать не надо. Надо слушать, что отец толкует. Отец хоть и старик, да не дурак... Да какого лешего с тобой говорить! Хоть и не люблю мне к атаману итти, а пойду. Облаву на волков надобно. Расплодилось их видимо-невидимо. Нынче нашу кобылу порвали, а завтра еще чью-нибудь.

Андрей Григорьевич тяжело затопал по ступенькам крыльца, прерывисто, со свистом вздыхая. Авдотья крикнула ему вдогонку:

— Дедушка, ты бы хоть папаху надел. Куда тебя, такого косматого, понесло?

— Пошла ты с папахой, — огрызнулся Андрей Григорьевич от ворот.

Авдотья принялась причитать:

— Ой, горюшко! Да что же такое деемся? И что за напасти на нашу голову?

— Замолчи! — прикрикнул на нее Северьян, а сам отвернулся к стене. Пряча от Авдотьи лицо, он громко и часто сморкался.

IV

Вечером, накануне праздника Николы вешнего, съехались с пашен казаки. Везде дымились бани, в каждой ограде отдыхали у коновязей потные кони. Распряженные быки, никем не провожаемые, весело помахивая хвостами, тянулись из улиц на выгон. В улицах пахло распаренными вениками, молодой черемуховой листвой и вечерним варевом.

В сумерки застучали в оконные рамы десятники:

— Хозяин дома? — спрашивали они под каждым окном.

— Дома, — отзывались хозяева на привычный оклик.

— Завтра на облаву итти. Сбор возле школы.

Назавтра, когда томилось еще за хребтами солнце, у решетчатой школьной ограды разноголосо гудела большая толпа. Из всех концов, в одиночку и группами, подходили казаки. Собралось человек триста, вооруженных кто берданкой, кто шомпольным дробовиком, а кто просто трещеткой. После всех подошел с братом и соседями поселковый атаман Елисей Каргин, широкоплечий и широколицый усач, с упругой походкой. Поздоровался. Опираясь на берданку, спросил:

— Ну, господа старики, откуда по-вашему начинать будем? Решайте. Да, пожалуй, пора и трогаться.

— С Успенского колка зачнем. — откликнулся первым низовской казак Петрован Тонких.

— Как другие думают?

— В прошлом году с Услона начинали. Стало быть, нынче с Киршихи надо, — разом крикнули справные верховские казаки.

— С Киршихи, так с Киршихи, — согласился Каргин, — давайте с богом трогаться.

Роман на облаву шел с дробовиком. Бердану взял себе Северьян, который хотя и жаловался на свою ногу, но на облаву заторопился раньше всех. У Драгоценки Роман догнал группу холостых казаков, среди которых шагал с дробовиком за плечами Никула Лопатин. Он размахивал руками и говорил романову дружку Данилке Мирсанову:

— Да, ежели ты хочешь знать, так я мой дробовик ни на какую. централку не променяю, будь за нее хоть двести целковых плачено. Дело не в цене. Дело, голова садовая, в том, какой бой у ружья. А у моего бой надлежащий. Ежели добрый заряд вбухать, так медведя нипочем уложу. Был у меня в прошлом году случай...

— Когда в амбар-то не попал? — спросил ехидно Данилка. Никула взъелся.

— Это еще что за амбар? Чего ты выдумываешь? Ты, паря, наговоришь, — оборвал он Данилку и попросил у парней:

— Дали бы вы мне, ребята, лучше закурить.

Не меньше пяти кисетов были дружелюбно предложены Никуле. Никула повеселел. Он извлек из-за пазухи сделанную из корневища даурской березы вместительную трубку и стал набивать ее из приглянувшегося больше других кисета.

— Вот трубка у тебя любо-дорого взглянуть. Где ты ее добыл? — не без умысла спросил Роман.

— Не в лавке же! Сам выдолбил. Я ведь на все руки мастак. Чуть не из целого дерева долбил. Месяц старался, зато и вкус табаку в этой трубке отменный, приятственный. В такой трубке зеленуха турецким табаком пахнет. Привык, паря, к ней, беда как привык. Другую мне лучше не давай.

— Да ну?

— Вот тебе и ну. Врать не стану, не так как твоего папаша сынок. Я ее по целым дням из зубов не выпускаю. Малому дитю соска, а мне трубка. Бывает, что спать с ней ложусь. А ежели в лес за дровами ехать, то скорей топор дома забуду, а трубку — не думай лучше. Поехал я недавно за сушняком. Верст восемь отъехал. Вдруг меня как

приспичит — захотел курить и шабаш. Сунул руку за пазуху, а ее, голубушки, там нет. Ну, думаю, по ошибке в карман сунул. Шарю в одном кармане, в другом — не находится. Потерял, думаю. Повернул Савраску и полетел сломя голову искать ее. Уж так я ее искал по дороге, что иголку малюсенькую и ту бы нашел. И так, понимаешь, огорчился, словно Лукерья меня ухватом вместо блинов угостила...

— Разве она тебя и ухватом потчует?

— Не только ухватом, случается — и мутовкой голову чешет. Может, я от такой бабы и лысым раньше времени сделался. Ведь она такая у меня грозovitая, что и не пикни. Такую заразу, как моя любезная, мало где найдешь.

— А с трубкой чем кончилось?

— Очень просто, голова садовая. Ищу я ее, а сам себя как самого последнего человека, ругаю. Вдруг мой Савраска взял да и остановился. Гаркнул я на него всердцах: «А ну ты, кол тебе в спину». А трубка-то и вывалилась у меня из зубов. Схватил я ее, голубушку, в руки, поднял голову и вижу: стоит конь у моей ограды. Он бы, стервец, и в ограду меня завез, да Лукерья ворота закрыла. А Савраска хоть и всем взял, но ворота открывать не умеет...

Громкий и дружный хохот покрыл слова Никулы. Шедшие впереди казаки остановились, стали поджидать окруженного парнями Никулу, который с довольным видом попыхивал трубкой. Иннокентий Кустов, похожий на бурята, богач из верховских, спросил Никулу:

— Чем это ты их так насмешил? Они ведь все животы надорвут.

— А что я с ними поделаю, ежели их хлебом не корми, а дай похохотать.... А ты знаешь, паря Иннокентий, кого я недавно в Шаманке встретил?

— Кого?

— Алеху Соколова. Я, говорит, не я буду, ежели не подпущу этому Иннокентию, это тебе-то, значит, красного петуха под крышу. Говорит он мне это, а рот у него дергается, как у собаки на муху, и руки все время трясутся. Дюже он на тебя злобится.

Иннокентия всего передернуло, маленькие плутоватые глазки его испуганно забегали по сторонам. Алексей Соколов жил раньше у него в работниках. Иннокентий не платил ему денег, обещая выдать за него свою сестру Ирину и дать за ней хорошее приданое. Соколов поверил и четыре года гнул шею на Иннокентия, который при всяком случае хвалил его и звал Алексеем Ивановичем. Благосклонно поглядывала на Соколова и сестра Иннокентия. Но

осенью прошлого года за нее посватался богатый жених из Булдуруйского караула. Соколов жил в то время со скотом на кустовской займке. Узнав, что Ирина просватана, он прискакал ночью в поселок с намерением застрелить Иннокентия. Но Иннокентий во-время заметил его и приготовился к встрече. Едва Соколов переступил порог дома, как он схватил его за горло, с помощью Ирины и сына Петьки связал и отвез к атаману. Атаман пригрозил Соколову судом и отправил на высидку в станичную каталажку. Вернувшись из каталажки, Соколов пришел к Иннокентию за расчетом. Иннокентий кинул ему за долгие годы работы четвертной билет и велел убираться на все четыре стороны. Соколов попробовал найти на него суд и управу, но не нашел. Везде его встречали откровенным смехом, в лицо обзывали дураком и советовали быть впредь умнее. Потрясенный такой несправедливостью, Соколов начал пить и несколько раз нападал на Иннокентия с ножом. Но всегда жестоко расплачивался за это собственными боками. Многочисленные родственники Кустова избивали его до полусмерти. На приiske Шаманка у Соколова был брат приискатель. Он приехал в Мунгаловский и увез Соколова к себе. Потом слышали в поселке, что Соколов из Шаманки куда-то ушел. Не было о нем ничего слышно месяцев семь. А вот теперь, оказывается, он живет снова в Шаманке. Было отчего покраснеть и растеряться Иннокентию, неожиданно узнавшему об этом от Никулы. Прийдя в себя, Иннокентий усмехнулся:

— Вон оно что... Спасибо, что предупредил. Пусть он только глаза сюда покажет, я ему живо шею сверну.

— Я ему и то говорил, что с тобой шутки плохие. Да ведь он тронутый, ему любая глубь по колено.

— Увидишь его еще раз, — скажи: ежели поджог сделает, удавлю на первом столбе, — зло сверкнув заплывшими узенькими глазками, выдавил Иннокентий и поспешил убираться от Никулы.

— Видели такого гуся? — обратился к парням Никула, кивнув головой на удалявшегося Иннокентия.

— И дурак Алеха будет, если не сведет с ним счеты, — отозвался Роман, ломая в руках таловую ветку. — Таких сволочей, как Кеха, давно проучить надо. Издевался над человеком, издевался, да еще и правым себя считает. Попадись бы он со своими проделками на другого, давно бы им здесь не воняло.

— У этих Кустовых вся родова такая паршивая. Все на одну колодку. Не люди, а чистые волки.

— Ладно, ребята, ладно... Не нам их судить. Не будем в чужой монастырь со своим уставом соваться, — поспешил переменить разговор Никула. Он уже жалел про себя, что назвал при парнях Иннокентия гусем. Узнает он про это, тогда ему пьяному на глаза не попадайся, живо изувечит.

V

Киришинский сивер* полыхал фиолетовым пламенем цветущего багульника. Купы кедров и лиственниц поднимались над этим недвижимым морем огня, как клубы зеленого дыма. И солнечный воздух переливался над ними тонким сладостным ароматом багульника, смолистой горечью молодой хвои. Казаки остановились в кустарнике. Покурили, посоветовались. Разбились на стрелков и загонщиков. Загонщики остались на месте, а стрелки — в большинстве пожилые казаки, среди которых был и Северьян Улыбин, — пошли вперед. На дальнем закрайке, у подошвы отсвечивающих бронзой обрывистых сопок, был скотный могильник. Над падалью вечно кружились, каркали и шипели хищные птицы, трусливо расступаясь, когда из поднебесья, сложив саженные крылья, падал камнем красавец орел.

Стрелки залегли и засели под самым могильником, за огромными, в узорчатых лишайниках, валунами. С берданкой наготове Северьян удобно прилег на теплой выбоине валуна. Прилег и услышал: в сивере исступленно токовали тетерева. Когда тетерева умолкали, было слышно, как где-то высоко-высоко звенит колокольчиком жаворонок, а в орешниках негромко ликуют желтогрудые песенники-клесты, да мерно постукивает красноголовый дятел.

Загонщики шли медленно. Сначала в той стороне бухнул чей-то выстрел, мячик молочного дыма вспух над кустами. И вот началось. Загалдели, заухали, ударили трещотками. Стрелки застыли в нетерпеливом, подмывающем ожидании. Но ждать нужно было долго. Загонщикам надо было пройти чащами не меньше версты. И Северьян решил до времени не томить себя. Он приподнялся с выбоины и осторожно повернулся направо. Шагах в сорока от него присел за валуном Платон Волокитин, первый силач во всей станице. Зорко вглядывался Платон в едва покачиваемые ветерком осыпанные цветом кусты багульника. «Если на такого чертяку волк наорется — не увидит», — с завистью решил Северьян... Невдалеке чуть слышно хрустнул валежник. Северьян

* Лес на северных склонах сопки.

притаился, задержал дыхание. По мелкому редколесью прямо на него бежал ленивой трусцой громадный светлосерый волк. Он часто останавливался, чутко поводя небольшими, косо поставленными ушами. Втягивая воздух в подвижные влажные ноздри, зверь вслушивался в людской галдеж. «Умный, стервец», — восхитился Северьян и направил берданку в ширский, полого срезанный лоб волка.

Волк потрусил снова. На опушке остановился так близко, что Северьян отчетливо видел сивые волоски подусников на волчьей морде. В редколесье появились еще два волка. Эти были гораздо мельче, с шерстью желтоватого цвета.

Северьян так и прирос к валуну. Чуть покачиваясь, нащупал надежный упор для локтей, замер. В эти секунды двигались только его жилистые ширококостные руки. Мушка качнулась вверх, вниз и остановилась на тонкой черте звериных бровей. Палец плавно нажал спусковой крючок. Северьян увидел, как подпрыгнул волк, повернулся с невероятной быстротой и кинулся саженными прыжками влево на голый красно-бурый откос. За ним, едва касаясь земли, неслись два других.

Сидевший в той стороне Каргин торопливо бил по ним с руки. Северьян насчитал три выстрела. Волки уходили все дальше и дальше, и он остервенело выругался:

— Промазал, чорт!

И вдруг обрадованно вздрогнул: большой волк заметно сбавил скорость. Задние догнали и сторонкой обошли его. Пошатываясь, волк сделал последний прыжок и ткнулся мордой в желтую круговину прошлогоднего ковыля. Северьян, прихрамывая, побежал к зверю, на ходу заряжая берданку. К нему присоединился Каргин.

— Ты что ли его осадил? — спросил Северьян Каргина и боялся, что тот ответит утвердительно.

— Нет, я не в него стрелял.

— Тогда, значит, я влепил...

Пуля занизила и попала волку в грудь. Когда подошел Северьян, волк уже издыхал. В страшной, в последней ярости уставленные на человека зрачки его глаз мутились, стеклятели. Все более тусклыми делались в них солнечные зайчики. Сильные когтистые лапы зверя судорожно загребали землю. По шелковистому ворсу подгрудника алым червячком сползала, запекаясь, кровь...

С облавы возвращались далеко за полдень. На гибких и длинных жердях, просунутых меж связанных пряжками лап, несли четырех волков. Волка, убитого Северьяном, несли Ро-

ман и Данилка Мирсанов, часто вытирая обильно выступавший на лицах пот.

На берегу Драгоценки сделали привал. Пили пригоршнями воду, умывались. Прямо над ними, под шаровыми снежно-белыми облаками, реяли, изредка перекликаясь, журавли-красавки.

Неудачно стрелявший во время облавы отец Дашутки Епифан Козулин, рано поседевший казак, прозванный за это Епифаном Серебряным, взял и выпалил в журавлей. Пуля не потревожила их.

— Не донесло, Гурьяныч, — посочувствовал Епифану Никула. — Шибко они высоко. Тут из трехлинейки бить надобно, а из берданки — только патроны зря переводить.

— А вот посмотрим, — ответил Епифан и выстрелил снова. Но и вторая пуля не потревожила гордых, звонко курлыкающих птиц.

— Разве мне попробовать? — спросил у Северьяна Каргин.

Отмахиваясь веткой черемухи от мошкары, Северьян улыбнулся:

— Не жалко патрона, так пробуй. Их ведь в такой вышине из пушки не достанешь.

— Все-таки попробую.

Каргин встал на колено, хищно прищурился, вскидывая берданку. Хлопнул выстрел.

— Тоже за молоком пустил, хоть и атаман, — съязвил Епифан. — Видно, не нам их стрелять.

— Платон, попробуй ты. На тебя вся надежда. Если уж и ты не попадешь, тогда не казаки мы, а бабы, — сказал Каргин.

Платон сначала отнекивался но потом согласился. Но и его выстрел был неудачным. Роман, которому тоже хотелось выстрелить в журавлей, не вытерпел, подошел к отцу, посмеиваясь сказал:

— Тятя, дай мне стрелить.

— Ишь ты, чего захотел, — рассмеялся Северьян. — Ну, бабахни. Пускай еще один патрон пропадет.

Роман взял у отца берданку. Сняв с головы фуражку, неловко опустился на колено и застыл, напряженно целясь.

— Народ, — закричал Никула, — посторонись, кому куда любо. Этот призовой стрелок, вместо журавля, в момент ухлопает.

Роман выстрелил. Следивший за журавлями, Никула завел с издевкой:

— Целился в кучу, а попал в тучу, — и, не докончив, изумленно ахнул: — Ай да Ромка, влепил-таки.

Все увидели, как один из журавлей внезапно остановился на плавном кругу своем, покачнулся и, как сносимый ветром, стал косо и медленно падать. Упал он на широкой, приречной рёлке, около высыхающей озерины. У мельничной плотины играли казачата. Завидев падающего журавля, они наперегонки пустились к нему. Раненный в крыло журавль затаился в густом тростнике. Его нашли, цепко ухватили за двухаршинные крылья и повели. Шел он танцующим, легким шагом. И когда его неосторожно дергали за раненое крыло, журавль печально и громко вскрикивал, пытаясь клювом достать руки казачат.

— Ну, удивил твой Ромка народ, — сказал Северьяну Платон, — а ведь ружья правильно держать не умеет.

— Бывает, — согласился Северьян, но Платон не унимался. Его самолюбие было задето.

— Он в корову за десять шагов не попадет, а тут птицу вон на какой высоте срезал. Одно слово — фарт.

Разобиженный словами Платона, Роман сказал ему, посмеиваясь:

— Хочешь, я твою фуражку на лету дыриватой сделаю?

— Сопли сперва вытри, а потом хвастай.

— Платон, а ведь у тебя очко сжало, сознайся. Фуражки тебе жалко, голова садовая, — подзудил Никула.

— Жалко? Есть чего жалеть. Да он все равно не попадет.

С этими словами он снял с головы, фуражку, внутри которой на голубом сатине подкладки желтел клеенчатый червонный туз — фабричная марка, отошел шагов на тридцать. Заметно волнуясь, метнул фуражку вверх. Роман, страхась промаха, молниеносно повел берданкой.

Платон подбежал к фуражке, поднял ее и удрученно крикнул.

— Потрафил-таки, подлец. Испортил фуражку. А я ведь ее только позавчера купил. Задаст мне теперь жару моя баба. Уж она меня попилит, прямо хоть домой не показывайся. Сукин ты сын, Ромка!

— Не надо было бросать.

— Затюкали ведь... Поневоле бросишь.

Хохотавший до слез над горем Платона Елисей Каргин подозревал Романа, похвалил его и небрежно кинул ему трёхрублевую бумажку:

— Возьми от меня на поминки по платоновой фуражке.

Роман поблагодарил Каргина, но деньги принять отказался. Никула не вытерпел и толкнул его в бок:

— Бери! Три рубля на сору не подымешь. Я тебе помогу их истратить. Вина купим, конфет.

Роман усмехнулся и ответил:

— У меня от конфет зубы болят.

VI

У церковной ограды гуртовалась на игрище молодежь. Девки, повязанные цветными гарусными шарфами, отплясывали под гармошку кадрили. Пыльный подорожник скрипел под ногами пляшущих пар. Парни с нижнего края сидели на бревнах, пощелкивая праздничную утеху — каленые кедровые орехи. Верховские играли на площади в «козелки» да неприязненно поглядывали на них. Они искали подходящего случая свести с низовскими какие-то старые счеты.

...Роман и его закадычный дружок Данилка Мирсанов на игрище пришли поздно. Поздоровались с девками и подсели к своим на бревна. Широкая желто-розовая заря дотлевала над сопками. Изредка по заревому фону проплывали черные тучки. Это далеко-далеко над степью летели на ночлег запоздавшие стаи галок. В туманной низине за огородами брнчало на конской шее ботало, ржал сосунок-жеребенок.

— Хочешь, Роман, орехов? — спросил трусоватый шлюговенький парень Артамошка Вологдин.

— Давай.

— Вы пошто так поздно?

— Да дело было...

— А мы думали, что не придете. Домой уходить собирались.

— С чего это?

Артамошка наклонился к нему, зачастил приглушенной скороговоркой:

— Да тут, паря, верховские беда как заедаются. Однако, драться полезут. Я на всякий случай тебе эту штуку припас. — Он показал Роману спрятанную под рубаху гирьку с ремешком на ушке. — Может, кого-нибудь ударишь? Верховских теперь не сожмет. У них Федотка Муратов заявился. Разодетый, курва, как барин. Сейчас у Шулятьихи гуляет.

Словно в подтверждение артамошкиных слов, на улице, в обнимку с Алешкой Чепаловым, круглолицым и пухлощеким купеческим сыном в лакированных сапогах, появился сам Федотка. Он насилу стоял на ногах. На нем синели новые с лампасами шаровары, дорогая с белым верхом и чер-

ным бархатным околышем фуражка, какие носили чиновники горного управления, была небрежно заломлена набекрень.

— Сейчас заварит кашу, недаром возле его эта сука, Алешка, увивается. Подзуживает.

— Его и подзуживать не надо, — сказал Роман, незаметно поднимая с земли и пряча в карман кусок кирпича.

Федотка Муратов был саженного роста, неладно скроенный, но крепко сшитый детина. Года четыре тому назад, еще подростком, жил он в работниках у Петрована Тонких. Однажды у них заупрямился на пашне бык. Взбешенный Федотка ударил быка кулаком в ухо. Бык сразу лег в борозду, из ноздрей его хлынула кровь. Насилу его отходили. И еще был случай, и тоже с быком. Елисей Каргин продал скотопромышленнику быка-производителя. Дело было в праздник, осенью. Быка вывели только за ограду. Дальше он не пошел. Его били бичами, сапогами, тянули за потяг три человека, но он не шел, застыл, как каменный, тоскливо и глухо мыча. Тогда вмешался сидевший на завалинке с парнями Федотка. Плюнув на руки, он подошел к быку, взялся за потяг.

— Отойди-ка, — сказал он скотопромышленнику. Бык был раскормленный, угловатый. Его вороная спина, широкая, как столешница, лоснилась. Могучими мехами ходили потные бока. Пунцовые дымки густели в круглых свирепых глазах. Упираясь широко раскинутыми ногами, бык закрутил, вырываясь из рук Федотки, тяжелой рогатой головой. Федотка перекинул потяг на правое плечо. Бык осел на задние ноги. Потяг натянулся, задрожал, как струна. Федотка, нагибаясь, падая всей грудью вперед, потянул за потяг. Прошла секунда, другая, и бык не пошел, а покатился за ним. Через прорезы его копыт брызнули кверху черные струйки земли. Федотка дотаскил быка до телеги. Крепко привязав к оглобле, он ткнул его для острастки под репицу кулаком и выпрямился, утирая зернистый пот. Толстяк-скотопромышленник сел в телегу, тронул лошадей. И бык покорно пошел за телегой, по-телячьи повиливая хвостом.

Последний год Федотка работал у Платона Волокитина. В праздники воровал из хозяйских амбаров, подделав ключи, пшеницу, пил ханьшин, играл в карты, дрался с низовскими — один на десятерых. Крепко увечил он низовскую холостежь, увечили и его. На святках из поселка Байкинского приехал к купцу Чепалову жених. В ту же ночь Федотка с братом Елисей Каргина Митькой забрались в чепаловский двор и обрезали у жениховских коней хвосты. Опозоренный жених назавтра чуть свет ускакал домой. А днем

Елисей Каргин полез на чердак зимовья. И там под овечьими шкурами нашел мешок с хвостами. Митьку он отхлестал концом сыромятной веревки, а Федотке велел убираться из поселка куда ему любо. Тогда-то и подался Федотка на прииски. И, как видно, там ему повезло.

— Здорово, публика! — заорал Федотка, подходя к толпе.

— Здорово! — недружелюбно приветствовали его.

Девки перестали плясать. Испуганно сгрудившись у церковной ограды, стали шептаться. Федотка направился к ним.

— Ну, девки, чего каши в рот набрали?

— Тебя испугались. Ишь какой ты красивый, — выпалила Дашутка, хоронясь за подруг.

— Не бойтесь, шилохвостки, драки не будет. Низовские, правильно говорю я?

— Не наскочите, так не будет.

— Это кто же такой храбрый? Ромка, ты что ли?

— А хотя бы и я!..

— Ну и чорт с тобой, молокосос! — Федотка махнул рукой. — Жидковат ты супротив меня, как заяц против собаки. Ты подрасти сначала, а потом заедайся.

— Я не заедаюсь.

— Ну ладно, не хочу я сегодня драться. Поняли?

— Хорошо и делаешь.

— Сегодня я плясать хочу... Дашутка, ягодка, что ты на меня, как туча, глядишь? Пойдем с тобой кадрилишь плясать.

— Не пойду, Других поищи...

— И найду, — осторожно переступив через прыгающую в траве лягушку, которую в другое время обязательно бы раздавил, сказал Федотка, — пойдем, Агапеюшка, с тобой.

— Пойдем, пойдем, — весело согласилась покладистая Агапка.

— Люблю таких. Музыкант, играй, не то играло поломаю...

Когда расходились по домам, Роман догнал Дашутку.

— Можно тебя проводить?

— Нет, боюсь за тебя. Подкараулит тебя Федотка и сломит голову.

— Не напугаешь, — и закинул ей руку на правое плечо.

У проулка за школой Дашутку с Романом догнал Алешка Чепалов. Бурно дыша, он толкнул Романа.

— Отойди, каторжанский племянничек. Нечего чужих девок отбивать.

— Не лезь, а то по зубам съезжу.

— Попробуй только, арестантская твоя морда...

Роман отпустил Дашутку и схватил Алешку за горло. Тот захрипел, истошно крикнул:

— Федот... Наших бьют...

Из-за угла вывернулся тяжелый на ногу Федотка. За ним бежало еще трое с поднятыми кольями в руках. Роман сшиб Алешку и бросился наутек. Федотка погнался за ним.

— Врешь, догоню! — орал он во все горло.

Роман перемахнул через плетень в чью-то ограду. На мгновение остановился, с издевкой поклонился Федотке.

— До свиданья. Пишите!

Домой он вернулся по заполью. Сняв на крыльце сапоги, осторожно, чтобы не скрипнула, открыл сенную дверь. Мимо отца, спавшего в кухне, прошел на цыпочках, разделся и упал на разостланный в горнице потник.

На заре он увидел сон: за ним гнался через весь поселок с железным ломом в руках Федотка. У Романа подсекались ноги. Он бежал долго, а Федотка не отставал, и все ближе звучал за спиной зловеший федоткин басок: «Врешь, не уйдешь!» Вот и дом. Роман, хлопнув калиткой, вбежал в ограду. А Федотка тут, как тут. У крыльца он догнал Романа, размахнулся и опустил ему на загорбок пудовый лом. «Ай, ай!» — заревел Роман и проснулся. Прямо над ним стоял с пряжкой в руках дед Андрей Григорьевич, собираясь вторично огреть его. Роман вскочил, как ошпаренный, схватил деда за руку.

— За что?

— Чтобы не фулиганил, не стыдил нас с отцом, подлец. Мы спим, ничего не знаем, а ты людей калечишь.

— Каких людей?

— Память отшибло. А за что ты вчера Алешку побил?

— Какого Алешку?

— Я тебе дам какого! Раз виноват, казанскую сироту из себя не строй.

— Он сам на меня, дедка, наскочил. Вот те крест, сам. Я пошел девку провожать, а он догнал и ударил меня.

— А ты бы взял и отошел. Разве девок-то мало?

— Каторжанским племянником он меня обозвал. А я такой обиды не стерпел.

— Гляди ты, какой подлец! — возмутился Андрей Григорьевич, — нашел чем попрекать. Паскудный, видать, парень... А только зря ты связался с ним.

— Да я его не бил, а только толкнул.

— Толкнул! Тут ведь сам Сергей Ильич приезжал. Пришлось и мне и отцу твоему краснеть перед ним, глазами моргать. Грозится он нас к атаману стаскать. И стаскает, сно-

хач проклятый, чтоб у него пузо лопнуло. Ему тут случай над нами, Улыбиными, поиздеваться. Скажет, один у вас на каторге и другой туда же просится. И придется твоему деду, георгиевскому кавалеру, глазами хлопать. И за кого? За внука... Напрасно, выходит, я тебя умным парнем считал. — И расходившийся дед снова огрел Романа пряжкой.

— Да перестань ты! — взвыл Роман и вырвал у него пряжку, — я тебе рассказываю, что он сам полез.

На крик вбежала мать Романа Авдотья, и принялась ругать деда.

— Постыдился бы, старый, ремнем махать. Мало ли что во молодости ни бывает. А ты запороть грозишься. Небось, когда сам молодой был, поди, почище штуки выкидывал.

— Выкидывал! — передразнил старик невестку. — Я ему дед, али кто? Должен я его учить, али пускай дураком растет?.. Наше дело, сама знаешь, какое. Где другим ничего не будет, там с нас шкуру снимут. Мы теперь для богачей — кость в горле.

— С какой это стати? — не сдавалась Авдотья. — Мы им за Василия не ответчики. Он своим умом жил.

— Это мы с тобой так рассуждаем. А у них — другой разговор. Они — сынки, мы — пасынки, — сокрушенно развел старик руками и приказал Роману:

— Пей чай, да на пашню ехать надо. Прохлаждаться нечего.

Проезжая на пашню мимо дома Чепаловых, Роман натянул фуражку на самые уши и скомандовал державшему вожжи Ганьке:

— Понужай!

VII

Улыбины ночевали на пашне. Коней стреножили и пустили на молодой острец, а быков после вечерней кормежки привязали к вбитым на меже кольям. За пашней, над круглым озерком, неподвижно повис туман, из ближнего колка сильнее повеяло ароматом цветущей черемухи. Вечер был теплый и тихий. Дымок улыбинского костра синей полоской тянулся далеко в степь. Чей-то запоздалый колокольчик доносился с тракта.

Поужинав при свете костра, Улыбины стали укладываться спать под телегой. Только расстелил Северьян войлок и начал мастерить изголовье, как Ганька дернул его за рукав, прерывисто зашептал, показывая на двугорбую сопку, прямо за пашней:

— Гляди, тятя, гляди! С сопки двое верших спускаются. Вон они...

Всадники, ехавшие по самому гребню сопки, показались Северьяну неправдоподобно большими. На зеленоватом фоне сумеречного неба были четко обозначены их силуэты с ружьями за плечами. Сомнения быть не могло, спускались они прямо на огонь улыбинского костра. Через минуту всадники круто повернули вниз и сразу пропали из виду. Роман взглянул на отца и увидел, как он пододвинул к себе берданку. Тогда Роман нашарил в траве топор и также положил его рядом с собой, отодвинувшись в тень. Ночью да в безлюдном месте осторожность никогда не мешала.

С топором под рукой, Роман вглядывался в темноту и слушал. По склону сопки из-под конских копыт катились с шуршанием камни. По частому лязгу подков определил он, что всадники едут по крутому спуску и кони все время, широко расставляя задние ноги, приседают на них, от этого и катятся камни. Скоро drobный топот послышался совсем близко. В свете костра появилась лошадиная морда, вокруг которой сразу закружились ночные грязно-белые мотыльки и мошки. Голос, показавшийся Роману знакомым, назвал его отца по имени.

— Кто это? — спросил Северьян, без опаски выходя на освещенное место.

— Своих не узнаешь. Разбогател что ли?

С конем на поводу к нему подходил, разминая затекшие ноги, посельщик Прокоп Носков, служивший надзирателем в Горном Зерентуе. По его походке безошибочно определил Северьян, что проделал Прокоп за день не малый путь. Его появление заметно взволновало Северьяна. Раньше относился он к надзирателям со спокойным безразличием постороннего человека. Их существование не касалось его. Не ждал он от них для себя ни хорошего, ни плохого. Но с тех пор, как попал на каторгу Василий, Северьян опасался, что рано или поздно их семье придется иметь дело с надзирателями. Василий в любую минуту мог решиться на побег. А в таком случае искать его, допытываться о нем будут прежде всего у родных. Поэтому при виде Прокопа невольно мелькнуло у него предположение, что произошло именно то, чего он одновременно желал и боялся. Но он не выдал своего беспокойства.

Притворно зевнув, одернул он привычным движением рубаху, пожал протянутую Прокопом руку и спросил:

— Куда путь-дорогу держите?

— Вчерашний день ищем, — расплылся в улыбке круг-

лолицый и толстогубый Прокоп, снимая с себя винтовку. Увидев недоумение на лице Северьяна, он поспешно добавил:

— Разлетелись из нашей клетки пташки. Вот и ловим их по темным лесам...

Из-под телеги вылез Ганька и обратился к Прокопу:

— А я вас первым заметил. Еще на сопке вы ехали, вон там...

Прокоп назвал его молодчиной. А подошедшего следом за Ганькой Романа весело спросил, скоро ли будут гулять у него на свадьбе.

— Об этом после действительной службы думать будем, — ответил за сына Северьян и тут же приказал Роману идти за водой, а Ганьке подкинуть в костер дров.

Когда Роман вернулся от озера с водой, Прокоп и незнакомый, угрюмого вида надзиратель, приехавший с ним, сидели вокруг огня, подогнув под себя по-монгольски ноги. Прокоп рассказывал, кого они ищут.

Оказалось, на-днях из Горно-Зерентуйской тюрьмы бежали восемь человек уголовных. Прокоп называл их «иванами». Бежали они из партии каторжников, которую вывели в тайгу на заготовку дров. При побеге они зарезали одного конвойного солдата и троих обезоружили. Двое из «иванов» были пойманы еще вчера в кустах на Борзе наткнувшимися на них казаками Байкинского поселка. Но остальные успели скрыться. На поимку их отправили конвойную полуроту и всех свободных надзирателей. У беглых было четыре винтовки, и переполоху они могли наделать много.

Выслушав Прокопа, Северьян сокрушенно покачал головой. Он считал безрассудным, что Прокоп, вдвоем с товарищем, отправились разыскивать шестерых каторжников, вооруженных и готовых на все. Северьян хорошо знал, как дерутся беглые, когда настигает их погоня. Он помнил за свою жизнь, по крайней мере, десять случаев, когда люди, вышедшие на волю, предпочитали умереть от пули казака или надзирателя, чем снова пойти на каторгу. Он почесал свой желтый ус, сказал:

— Зря ты, паря, к тюрьме прильнул. На такой службе ни за грош, ни за копейку голову потеряешь. Бросай ее к едре-не матери, послушай моего совета.

Прокоп бросил окурок папиросы в огонь и захохотал, показывая обкуренные зубы:

— Службу бросить не трудно, да ведь есть-пить надо, а другая не вдруг подвернется. Служба же наша не лучше и не хуже других.

Его спутник поднялся и пошел к привязанному у телеги коню. Он снял с седла переметные сумы и вернулся с ними к костру. Развязав их, он стал выкладывать на холстину твояжные шаньги, вареные яйца, холодную баранину и нарезанное ломтиками сало, рядом с которыми поставил бутылку водки. Северьян покосился на бутылку, обхватил колени руками и сказал со вздохом:

— Эх, ребята, ребята... Сладко едите и вволю пьете, а не завидую я вам. Мне бы на вашем месте любой кусок поперек горла становился.

— Это отчего же?

Если бы Прокоп был один, Северьян прямо бы ответил ему, что считает надзирательскую службу постыдным занятием. Но при чужом человеке не решился на такой ответ. Вместо этого он сухо бросил:

— Боюсь за беглыми гоняться.

Прокоп принял его слова за чистую монету и стал возражать:

— Бояться нечего, паря. За беглыми мы гоняемся не часто. За весь год это первый случай. До него у нас все чин-чином шло. Правда, с уголовщиками всегда ухо остро держи. Зато с политическими ничего живем, дружно. Начальник тюрьмы Плаксин — человек у нас порядочный. Он с «политикой» себя умно ведет, старается не раздражать ее.. Только, кажись, его скоро уберут от нас. Разговоры об этом давно идут. Еще на пасхе приезжал к нам один чиновник из тюремного управления. И нам и Плаксину он много крови попортил. Слышал я тогда, как он орал на него при обходе: «У вас режим клуба в тюрьме. Вы ее в богадельню превратили». А после его отъезда генерал-губернатор Кияшко влепил Плаксину выговор.

— Тогда уберут его, вашего Плаксина, — сказал убежденно Северьян. — На каторге хороший человек не уживется.

В разговор вмешался второй надзиратель, фамилия которого была Сазанов.

— Плаксин ведь хороший, да не совсем. Он не добрый, а просто хитрюга. Я его давно раскусил. Он бы давно всю «политику» в гроб загнал, да за свою шкуру трясется. Знает, что это даром не пройдет. В момент ухлопают, в любом месте достанут. Вот он и старается «политику» не задевать.

— Да как же они его убить могут, если сами за решеткой сидят? — хитренько ухмыльнулся Северьян, решивший, что Сазанов малость заврался.

— Из-под земли выкоют, а убьют. И не они это сделают, а их дружки и товарищи с воли. У них это дело здорово

поставлено. Раньше я до Горного Зерентуя в Алгачинской тюрьме служил. Был у нас там начальником Бородулин. Он меня оттуда и выпер, когда узнал, что я с «политикой» по хорошему обращаюсь. У него так было: на кого политические не жалуются, тот плохой надзиратель, того раз-два и по шапке... Приструнил Бородулин «политику» крепко, розгами наказывал, человек пять до самоубийства довел. От высшего начальства к каждому празднику благодарность имел и наградные. Его многие предупреждали, что даром это не сойдет. А он все похихатывал... И что ж ты думаешь? Перевели его из Алгачей с повышением в Россию, начальником Псковской тюрьмы назначили. Там его, как миленького, насквозь и продырявили из револьвера и записку на грудь положили, что застрелен, как собака, за издевательство над политическими в Алгачах... А от Алгачей до Пскова шесть тысяч верст. Стало быть, длинные руки у них, ежели на таком расстоянии достают... Да и не один он так поплатился. Начальника каторги, Метуса, недавно в Чите ухлопали. Подошел к нему на вокзале офицер, спросил: «Вы, кажется, полковник Метус?» И только успел тот головой кивнуть, как уже сидело в нем две горошины из стального стручка.

— Неужели офицер убил?

— Какой там к чорту офицер! Кто-нибудь из революционеров так вырядился.

— И не поймали его?

— Поймают, дожидайся. Он словно сквозь землю провалился.

Роман был поражен всем услышанным от надзирателей. Он и не подозревал, что совсем недалеко от Мунгаловского идет своим чередом такая большая, непонятно грозная жизнь. Раньше он никогда и не думал, что тюремное начальство в любую минуту могут убить.

Меж тем вода в котле закипела. Роман, жадно слушавший разговор, бросил в котел горсть зеленого чая и щепотку соли. Когда чай нагрел, он снял котел с тагана и поставил возле холстины с едой. Прокоп разлил водку в деревянные чашки и первую чашку поднес Северьяну. Прежде чем принять чашку, Северьян немного покуражился:

— Однако, оно и не к чему бы... Да уж ладно, выпью за компанию. — И, не зная, с чем поздравить их, сказал:

— Ну, с приездом вас.

После первой чашки он решил не вязаться больше с надзирателям с разговорами. Пусть живут, как им любо. Но после третьей чашки не вытерпел и сказал Прокопу, что ходить в надзирателях все-таки не казачье дело.

— Не казачье, говоришь, дело? — заговорил Прокоп. — А по-моему, только казаку и ходить в надзирателях. Казак, брат, первый защитник престола и отечества. Он хоть и в тюрьме не служит, а должность у него тоже собачья. Недаром его нагаечки в любом городе потрухивают и песенки про нее распевают. Не слышал?

— Не доводилось.

— Песенка не в бровь, а прямо в глаз... Я это по себе знаю. В девятьсот пятом в Чите на Песчанке наш полк стоял. Стыдно теперь вспомнить, что мы делали. Много мы наших нагаек о людские спины пообломали... Недаром рабочие на Чите первой нашим братом, казаком, ребяташек пугают. — закончил он ожесточенно и вылил в свою чашку остаток водки.

Северьян возразил ему, что там он был не по своей воле, а служба заставила. Прокоп на это сказал, что и в тюрьме он не по своей воле, когда жрать-пить хочешь, — в любую петлю голову сунешь. Но Северьяна его слова не убедили. Он запальчиво крикнул:

— Ну уж чем каждый день на чужое горе да беду смотреть, так лучше по миру итти!

— Рассуждаешь ты хорошо, — ответил ему Сазанов. — Только не все так думают. Ты думаешь, поймали бы вчера двоих на Борзе, если бы не байкинцы? Они на них сонных наткнулись и скрутили.

Северьян раздраженно махнул рукой.

— Не убедите вы меня все равно.

— Давно ли ты так рассуждать стал? — повернулся к нему Прокоп.

— Я всегда так думал.

— Ну, не ври, брат. Раньше, глядишь, по-другому толковал, пока Василий не сел в тюрьму.

— Какой такой Василий? — спросил Сазанов. Прокоп захохотал:

— Да ведь у Северьяна брат в Кутомаре сидит. Восемь лет ему приварили. Служил он в Чите, да и спутался там с революционерами.

Сазанов с удивлением поглядел на Северьяна и отодвинул от себя только что налитую чашку чая. Подвыпивший Северьян не заметил происшедшей в нем перемены и сказал:

— Как вы там хотите, а собачья ваша должность.

Сазанов покраснел, резко оборвал его:

— Лучше уж надзирателем быть, чем каторжником, — и, поднявшись с земли, сказал Прокопу: — Ну, Носков, поехали. Попрохлаждались с твоими посельщиками, хватит.

— А разве не ночуем здесь?

— Нет, надо ехать. Давай собирайся.

— Ехать, так ехать, — согласился Прокоп. — А только, по-моему, лучше бы здесь ночевать.

На востоке уже начинало белеть, когда надзиратели тронулись с улыбинского табора. Роман, отпуская быков на кормежку, слышал, как, отъехав в кусты, Сазанов принялся ругать Прокопа:

— За каким ты меня чортом сюда затащил? С такой родней водиться я тебе не советую.

— Да ведь Северьян-то мне кум.

— А ты от такого кума подальше, — услышал Роман последнее, что донеслось до него из-за кустов.

«Добрая собака», — подумал он про Сазанова, но отцу, чтобы не расстраивать его лишним раз, ничего не сказал.

VIII

Просторный и прочный, на сером фундаменте дом — лучший в поселке. Стены его обшиты смолистым тесом, карнизы украшены тонкой резьбой. На зеленой железной крыше белеют высокие трубы, похожие издали на лебедей, отдыхающих в тихой заводи. В стрельчатых окнах нижние стекла — цветные. В солнечный день они сверкают, как драгоценные камни. Двухсаженные заплоты ограды и створы широких, крытых тесом ворот выкрашены синей краской. Ограда посыпана желтым речным песком. Над ней, от веранды и до амбаров, протянута проволока. По ночам, громокая цепью, вдоль проволоки мечется чепаловский волкодав, лающий хриплой октавой.

Много лет тому назад стояла на этом месте осиновая избушка с окошками из мутной слюды. На рыжем корье ее крыши торчали полынные дудки, стлался кудрявый мох. В избе проживал с женой и сыном охотник Илья Чепалов. Однажды, на исходе мглистого дня, по зимнику, розовому от заката, возвращался Илья с охоты. Он вез притороченного ремнями к седлу гурана с ветвистыми рогами. В четырех верстах от поселка, у заросшей шиповником и орешником сопки повстречалась охотнику волчья свадьба. Бежать было некуда — слева крутая, почти отвесная сопка, справа — непроходимый, в саженных сугробах тальник, а за спиной — синеватый и скользкий лед озера, по которому можно было проехать только шагом. Волки были в тридцати-сорока шагах. Они скучились на дороге, готовые каждый миг метнуться на человека, в клочья разнести коня и его самого. Обливаясь

холодным потом, перекрестился тогда Илья и вскинул на сошки кремневый штуцер.

Целился он в волчицу.

Он знал, что если убьет ее, будет спасен. Потеряв самку, звери трусливо убегут прочь. Их связывает и держит в грозной стае только темная сила ненависти и страсти.

От холода или от страха, но дрогнули никогда не дрожавшие руки Ильи. Пуля угодила не в волчицу, а в матерого тощего волка, сидевшего рядом с ней. Волк яростно взвизгнул и закрутился, как колесо, на красном от крови снегу. Волчица, а за ней и вся стая, пьянея от запаха крови, бросились на него, и моментально разорвали в клочья. Потом подступили к Илье. Он скинул с себя доху и встал на дороге с ножом в руках...

Назавтра на заплывленном кровью зимнике поехавшие за дровами казаки нашли доху, втоптанное в снег ружье Ильи и рогатую обглоданную голову гурана. Подальше, за бугорком, валялись кровавые кости коня и два волка с черепами, разможенными копытом...

Сыну Серьге оставил погибший охотник в наследство завидное здоровье да старый верного боя штуцер. Серьга вычистил штуцер, повесил его в сухом и светлом углу, а сам пошел наниматься в работники. Нанял его орловский ското-промышленник Дмитриак, наживший немалое состояние на торговле монгольским скотом. У Дмитриака была дочь Степанида, единственная наследница его капиталов, скучавшая в светлицах большого шатрового дома. Много к ней сваталось женихов. Но никто из них не пришелся по сердцу своевольной девке. А Дмитриак ее в выборе не неволил, не торопил.

Легко тогда носил диковатый и смуглый Серьга большое стройное тело на крепких ногах. Встречаясь со Степанидой, он откровенно жег ее озорным взглядом, мечтая сделаться зятем хозяина. И дрогнуло неприступное девичье сердце, сладко зануло. Напрасно старалась она победить расцветающее чувство, по-хозяйски помыкая Серьгой, всячески высмеивая его на людях. Чувство росло и скоро стало трудно скрывать его. Догадливый Серьга сметил довольно быстро, в чем дело. Однажды возил он Степаниду за покупками в Нерчинский Завод. Возвращались оттуда вечером. Переваливая лесистый хребет, услышали они близкий волчий вой. Перепуганная Степанида, дремавшая на подушке, в задке тарантаса, заявила, что боится, и потребовала, чтобы Серьга пересел с козел к ней. Дважды просить его об этом не пришлось. Успокаивая дрожавшую Степаниду, он незаметно обнял ее. Дней через пять после этого, когда не было дома

хозяина, далеко за полночь прокрался Серьга из кухни в уютную спальню Степаниды. Она испуганно вскрикнула и замолчала... С тех пор, забыв про всякую осторожность, часто похаживал Серьга в заветную спальню. Только на свету уходил из нее с синими кругами у глаз. Но однажды у двери спальни его встретил сам Дмитрик. В руках его холодно блеснула оголенная шашка. Ударом плашмя по голове свалил он работника на пестрый половичок. С дикой матерщиной топтал его после сапогами, таскал за каштановую чуприну. Выскочившую на шум Степаниду заперев уложил кулаком. В синяках и ссадинах припелся Серьга к матери в Мунгаловский. Три дня валялся на лавке, худой и черный. И как ни допытывалась мать — ни слова не вымолвил ей. А на четвертый день, закинув за плечи мешок с сухарями, жестяной котелок и штуцер, отправился он на таежные прииски. Но не с честной работы старателя, не с форта, найденного лотком и лопатой, пошла его жизнь в крутой подъем. Голубые зубчатые хребты на север от Мунгаловского — в дремучей непролази тайги. В тайге бесконечно вьется, петляет тропинка. На глухие зауровские прииски, к студеным безымянным речкам ведет тропинка. По ней, в те далекие времена, пробирались из-за Аргуни на прииски и обратно косатые китайцы. За ними, говорят, и охотился Серьга Чепалов в компании с каким-то отпетым приятелем. Они садились у тропинки и ждали. Если китаец был один и покорно отстегивал набитый золотым песком клеенчатый пояс, они отпускали его. Если же китайцев было много, тогда начинали их терпеливо преследовать и истреблять. Свалив удачным выстрелом одного, обшаривали его пояс и пускались в погоню за остальными. Китайцы, навьюченные поклажей, утомленные перевалами, переходами через зыбкие топи в падах, бежать не могли. Падали они запертво, настигнутые свинцовыми пулями на чужой негостеприимной земле, прижимаясь к ней пробитой грудью, словно могла земля удержать улетающую из тела жизнь...

...В поселок Серьга Чепалов вернулся на паре собственных вороных. Как истый приискатель, он был в широченных штанах из зеленого плиса, в сарапульских сапогах со скрипом. Алая шелковая рубашка была опоясана кушаком с кистями. Из кармана жилетки свисала серебряная цепочка часов и рубиновый, в дорогой оправе, брелок. Горемычная мать не дождалась своего ненаглядного Серьги. Уснула она в бурную зимнюю ночь в нетопленной избе, да так и не проснулась. Похоронили ее соседи и наглухо заколотили досками окна и двери неприглядной избушки. Но Серьга не грустил.

Весело позвякивая деньгами в карманах, ходил он по Мунгаловскому, почтительно кланяясь старикам. С тех пор и стали его величать по имени, по отчеству. В зимний мясоед застал Чепалов сватов к Дмитряку. Позеленел от душившей его ярости Дмитряк, но сватов выслушал. Гуляла о его Степаниде дурная молва, давно отшатнулись от нее женихи. Если согласен Чепалов загладить свою вину, пускай заглаживает. И согласился Дмитряк на свадьбу. Вдосталь веселой и пьяной была чепаловская свадьба. Чуть не полпоселка гуляло на ней. Тридцать ведер ханьшина выпили гости, в свадебных буйных скачках загнали гривастых чепаловских коней.

— С ветра пришло, на ветер уйдет, — судачили о свадебных тратах Чепалова мунгаловцы, — вот поглядите, побарствует, а там опять зубы на полку сложит. Ведь у Дмитряка-то, пока живой он, много не получишь.

Но Сергей Чепалов не собирался пускать своего богатства на ветер. После свадьбы он стал скупым и расчетливым, дела свои вел с умом. У разорившегося соседа купил со всеми усадебными постройками старый дом. В половине, выходящей на широкую улицу, оборудовал лавку. Торговал по началу керосином, спичками и разной мелочью. С покупателями разговаривал тихим солидным баском. Степанида Кирилловна ежегодно рожала то сына, то дочь, да год от году добрела. Дочери были недолговечными, умирали, не научившись ходить. Из сыновей выжило трое: Никифор, вылитый в мать первенец, Арсений — туповатый тихоня, окрещенный по-уличному «тетерей», и самый младший, моложе Никифора на шестнадцать лет, голубоглазый, пухлолицый Алешка — отцовский любимчик.

В 1899 году Никифора взяли на действительную службу. Служить ему пришлось во 2-й Забайкальской казачьей батарее. Смышленный, пронырливый казачина уже через год носил на погонах лычки приказного. За подавление китайского мятежа получил «Георгия» четвертой степени, был представлен к производству в старшие урядники. Командир батареи полковник Филимонов благоволил к нему. И начало русско-японской войны Никифор встретил на должности безопасной и небезвыгодной. Сделал его Филимонов старшим фуражиром батареи. На фуражировку отпускались большие суммы, и крепко погрел около них руки бравый урядник. Махинации были простые. Приезжал он с дружками в глинобитную китайскую деревушку, прямо с коня стучал черенком нагайки в обтянутые промасленной бумагой окошки фанз. Низко кланяясь, встречали незваных гостей китайцы, разглядывая их

из-под соломенных шляп задымленными неприязнью глазами. Никифор показывал им пригоршню золотых и спрашивал на ломаном жаргоне:

— Фураж, манзы, ю?

Завязывались оживленные разговоры с помощью пальцев. Показывая китайцам пук клевера или гаоляновый стебель, давал им понять Никифор, что ему нужно. Щедро обещал он оплачивать все, что купит, и для вящей убедительности пересыпал из ладони в ладонь красноречивые импералы. Китайцы охотно показывали тогда чумизу и сено и начинали торговаться. Потешаясь над их лопотанием, подмигивал Никифор ловким друзьям. В момент нагружались доверху пароконные казачьи двуколки. Потаскав на прощанье китайцев за пыльные, сальные косы, галопом уносились фуражиры прочь из деревушки. Дорогой придумывали ограбленным горемыкам фамилии пошмешнее и писали от их имени расписки в получении денег за фураж. Каждая расписка имела стереотипный конец: „по безграмотности и личной просьбе крестьянина Сунь Чун-чая из деревушки Хаолайцзы расписался казак Ефим Кушаверов». Менялись в расписках только фамилии и названия деревушек. Потом фуражиры делили добычу. Львиная доля всегда доставалась Никифору. Ежемесячно приходили в то время из действующей армии денежные переводы на имя Сергея Ильича. Переводы были на сто рублей и более. Именинником ходил Сергей Ильич по поселку. Присланное Никифором он припрятывал до поры до времени и делал это кстати. В конце концов проделки Никифора были вскрыты. Добрался ли до полковника, не жалея головы, расторопный китаец, или донес какой-то казак, но только многое узнал командир о своем любимце. Предупрежденный приятелем-ординарцем, успел Никифор спутать следы. Только сунул он на сохрану посельщику Семену Забережному добрую пачку красненьких десятирублевок, как нагрянул с обыском сам Филимонов. Полковник рвал и метал. Денег у Никифора не нашли, но не пожалел Филимонов его крепких скул. Звонкими пощечинами учил он своего урядника на виду у всей батареи, так что лопнула замшевая перчатка. Лицо Никифора становилось то пепельно-серым, то свекловично-розовым. Затаив дыхание, злорадно посмеивались казаки над горем выскочки и пролазы Чепалова, а у его дружков-фуражиров от страха подрагивали губы. На прощанье пригрозил полковник Никифору военным судом и отправил его на гауптвахту. Через день полетела в станицу Орловскую телеграмма. Просил полковник станичного атамана немедленно сообщить, получал ли денежные переводы

от сына купец Чепалов. В Орловской тогда атаманил Капитон Башлыков, доводившийся родственником Чепалову. Получив телеграмму, прикатил Башлыков в Мунгаловский. Перепуганный купец, чтобы как-нибудь замялось дело, отвалил ему сотенную. Башлыков, покуражась для виду, вылакал бутылку контрабандного коньяку и укатил обратно. Через полмесяца дождался Филимонов спасительного для Никифора ответа. Так и вывернулся урядник сухим из воды. Отделался он смещением из фуражиров да выбитым зубом. С гауптвахты вышел — краше в гроб кладут, худой и желтый, но, не стыдясь, твердо выдерживал удивленные взгляды казаков. Той же ночью, когда заснула казарма, подкрался к его койке Семен Забережный. Дотронулся рукой до плеча, разбудил:

— Никифор, а Никифор...

— Чего?

— А ведь у меня, паря, беда, — голос Семена рвался, — деньги-то твои украли. Я их в переметные сумы спрятал, кто-то их у меня и попер оттуда...

Никифор схватил Семена за грудки, захрипел:

— Врешь, сука! По глазам вижу, врешь! Сам приспособил их.

— Не вру, вот те крест, не вру. Не стал бы марать из-за них свою совесть. Не такой я.

— Не такой... Да вся родова ваша воровская. Сознаться уж...

— Не в чем мне сознаваться.

— Ладно, ладно... Попомнишь ты меня...

— Ну и хрен с тобой, — разозлился обиженный Семен и пошел к своей койке. Он не врал Никифору. Деньги у него действительно украли. Только после войны случайно узнал Семен, что деньгами попользовался копунский казак Яшка Кутузов, построивший на них на Московском тракте постоянный двор.

В конце 1905 года служивые вернулись домой. Дважды раненого Семена ждала в Мунгаловском ходившая по работницам жена, горбатая от натужных работ. Изба его, рубленая еще отцом из комлистых лиственниц, горестно покосилась, мохом поросла ее дырявая крыша. Нетоптанный скотиной, первородной голубизной сверкал в ограде снег. Разорилось хозяйство, умерли мать и отец, пока отбывал Семен семилетнюю царскую службу. Неделью беспробудным пьянством глушил Семен лютую кручину, а потом отправился искать себе работу у богачей. Зато Чепаловы размахнулись после японской войны особенно широко. Снял мундир бата-

рейца Никифор и сменил за прилавком отца. Изворотливый добытчик, ездил он за товарами в Читу и даже Иркутск. При встрече с Семеном, не здороваясь, проходил мимо, жег ненавидящими глазами. В девятьсот десятом сгрохали Чепаловы на загляденье всему поселку — в четырнадцать окон по фасаду — дом. И добрую половину его отвели под магазин. Находил у них покупатель сукно и барнаульские шубы-борчатки, жнейки «Массей Гаррис» и конные грабли «Мак-Кормик». Два года спустя, поставили они на крутом берегу Драгоценки паровую мельницу. Мельница работала круглые сутки зимой и летом, приносила завидные барыши. Была она единственной на все юго-западные поселки Орловской станции, знаменитой черноусыми пшеницами, наливными гроздьями шатиловских овсов. Тесно становилось Чепаловым в поселке, как разросшемуся деревцу в узкой кадке. По совету Никифора, надумал Сергей Ильич перебраться в Нерчинский Завод. Приглянулся им там магазин на базарной площади и, наезжая туда, приглядывались к нему Чепаловы. Магазин принадлежал разорившемуся на поисках золота, разбитому параличом купцу Пестелеву. Два раза навещался к нему Сергей Ильич насчет покупки. И оба раза паралитик, размахивая ореховым костылем, иступленно выпроваживал его вон из дома. Вчера, наконец, приехал Платон Волокигин с базара из Нерчинского Завода и сообщил Сергею Ильичу приятную новость: видел он собственными глазами, как пышно хоронили старика Пестелева.

— Смотри, магазин не проморгай, — подзадорил Платон.

— Завтра уже съезжу, поторгуюсь с вдовой. Дорожиться не станет, так сладимся.

IX

Утром Сергей Ильич стал собираться в Нерчинский Завод. Выкатив из-под навеса лакированный тарантас, принялся он мазать колеса. Никифор, позвякивая наборной уздечкой, пошел на выгон привести для поездки коня. Сергей Ильич глуховато буркнул ему вдогонку:

— Поскорее ходи, а то ночевать в Заводе придется.

Спутанные ременными путами рабочие чепаловские кони паслись за Драгоценкой в неглубокой ложине. Никифор поймал вороного гривастого иноходца, уселся на него верхом и тряской иноходью припустил в поселок. Когда подъехал к Драгоценке, из буйно цветущих кустов черемухи его окликнули. Голос был робкий и звонкий:

— Отец родной, не дай погибнуть.

Никифор придержал иноходца. Густые черемуховые кусты никли над светлой водой, осыпанные пахучим цветом. В них нельзя было ничего разглядеть.

— Экая чертовщина. Померещилось что ли? — Никифор выругался вслух и тронул было коня. Из кустов крикнули снова:

— Дай хлеба, родимый.

— А ты кто такой? Хлеба просишь, а глаз не кажешь.

Тогда из белого разлапистого куста робко вылез немолодой человек в серой куртке, обутой в рваные стоптанные коты. Бесшумным кошачьим шагом ступал он по росной траве. Человек был кривой на один глаз, лицо его было в жесткой рыжей щетине.

«Ага, беглый, — сообразил Никифор, — забарабать разве голубчика? Только оно ведь боязно. У него, у чорта каторжного, зараз нож припрятан. Да может он и не один тут, — покосился Никифор на кусты. — Не из тех ли он, которые из Зерентуя убежали? Надо поскорее убираться, а то если он не один, они меня живо ухлопают».

Каторжник зорко глядел на него глубоко впавшим здоровым глазом. Никифор решил тогда на другое. Он добродушно улыбнулся:

— Хлеба, говоришь?

Каторжник кивнул непокрытой стриженной головой.

— Век за тебя, родимый, буду бога молить.

— Нет у меня, паря, ничего с собой. Если хочешь, так подожди. Я тебе с ребятишками из дома отправлю.

— Пожалуйста, отец родной... Ноги меня не несут. Трое суток маковой росинки во рту не было.

— Давно убег-то? — поинтересовался Никифор.

— Да шестой день никак.

— Куда путь держишь?

— В Костромскую губернию. Оттуда я. Охота, отец родной, на детишек перед смертью взглянуть.

— Ну, так жди... Ребятишки зараз тебе ковригу принесут.

— И сольцы бы, отец родной, щепотку.

— Можно и соли послать...

Едва Никифор рассказал о беглом Сергею Ильичу, как тот погнал его к атаману. Каргин собирался ехать на пашню. У крыльца стоял его оседланный конь. Выслушав Никифора, он недовольно выругался, схватил берданку, и, вскочив в седло, приказал Никифору:

— Зови народ с Подгорной улицы, а я верховских подниму. — И, взвихрив пыль, наметом вылетел из ворот. Зави-

дев его верхом на коне и с берданкой в руках, хватали казаки ружья и шашки, торопливо седлали коней. Скоро набралось у каргинского дома человек двадцать. Каргин приказал Иннокентию Кустову с половиной людей скакать вниз, выехать на Драгоценку в конце поселка и оттуда цепью двигаться вверх по речке. С остальными Каргин пустился прямо на указанное Никифором место. За огородами спешились и рассыпались по кустам с берданками на изготовку.

И беглый каторжник дождался. В кустах зашумело, затрещало. На затененной прогалине мелькнул казак с ружьем, за ним другой. Каторжник, расклаваясь в своей доверчивости, метнулся вниз по речке. Кубарем скатился с берегового обрыва, под которым его поджидало еще двое беглых, вооруженных винтовками.

— Беда, Сохатый... Казаки. Бежать надо.

Человек, которого он назвал Сохатым, гневно ткнул его кулаком в затылок.

— У, кривая сволочь... Подвел нас...

Бежать они бросились на заречную сторону, где кусты были гуще. Кривой зашиб ногу о подвернувшийся камень и стал отставать. Видя, что товарищей не догнать, он решил спастись в одиночку. Голоса преследующих раздавались совсем близко. Он упал и пополз затравленным волком, тоскливо озираясь по сторонам. В одном месте берега, размытом весенней водой, была узкая и глубокая расщелина. Над входом в нее висели паутиной корни подмытой ольхи. Кривой с трудом протиснулся в расщелину, затаился. В это время там, куда убежали его товарищи, раздался выстрел. Дрожа всем телом, он трижды перекрестился и принялся песком и старыми листьями засыпать вход в расщелину.

Уходивших вниз по Драгоценке каторжников первым увидел бывший в группе Кустова Никула Лопатин. Увидев их, он так перепугался, что камнем упал за куст и принялся шептать: «Пронеси, господи, пронеси, господи...» Каторжники пробежали в трех шагах от него, злые, готовые на все. Тогда Никула закричал и, не помня себя от страха, выпалил из дробовика. На выстрел подбежал к нему Иннокентий Кустов.

— В кого стрелял? — заорал он на Никулу.

— Двое, паря, с винтовками... Вон туда побежали. Чуть было один меня штыком не приколол. Ежели бы я не сделал ловкий выпад...

Но Иннокентий, не выслушав его, бросился дальше. За ним поспешили остальные казаки, каждому из которых Никула кричал, что его чуть было не закололи штыком. Вы-

думка насчет штыка ему понравилась. Скоро он сам поверил в нее и долго рассказывал потом встречному и поперечному, как ловко отбил берданкой направленный ему в брюхо штык.

Каторжники могли бы уйти, но их заметили ребяташки, толпившиеся на том месте, где спешили с коней казаки. Накнувшись на ребяташек, каторжники приняли их впопыхах за взрослых, на мгновение в замешательстве остановились, а потом выругались и ринулись в сторону.

— Вон они... Вон они... — загалдели возбужденно ребяташки, показывая на перебежавших чистую широкую луговину каторжников. Подоспевший Иннокентий принялся с колена бить по ним. Каторжники спотыкались о частые кочки и бежали медленно. Впереди у них было непроходимое болото, но они не знали об этом. Казаки бросились в обход и скоро притиснули их к самой трясине, где и заставили залечь в высоких болотных кочках. Брать их казаки не спешили, а терпеливо дожидались, пока не выйдут у них патроны. Они лежали в прикрытии, курили и переговаривались.

А верхняя группа тем временем, прочесывая кусты, подошла к расщелине, где, согнувшись в три погибели, задыхался от сердцебиения кривой.

— Ну-ка, ткни сюда шашкой, — показал Платону на расщелину Каргин. Платон ткнул так удачно, что, вытащив шашку, увидел на конце ее кровь.

— Нашли тарбагана. Не уйдет, — оскалился Платон и скомандовал: — А ну, вылезай!..

Но кривой, у которого была проколота шашкой мякоть ноги, продолжал отсиживаться. Платон, не торопясь, вытер о траву шашку, сунул ее в ножны, подошел и ухватил беглого за ноги. С бесцельным и мрачным упорством цеплялся тот ободранными в кровь руками за корни ольхи. Платон разгорячился. Он рванул его так, что кривой моментально очутился на песке под ногами казаков. Окровавленный, перемазанный бурой глиной, плача от злобы и бешенства, поднялся кривой на ноги.

— Эх, дядя! Креста у тебя на воротах нет, — узнав Никифора, крикнул он плачущим голосом. Неожиданно рванувшись вперед, залепил он в усатое лицо Никифора обильным вязким плевком.

— Брось баловать, сволочь... Давай, Никифор, ремень... Его, псюгу бешеного, скрутить надо...

С руками, связанными за спиной сыромятным ремнем, повели кривого Платон и Никифор. На дороге повстречались им принаряженный Сергей Ильич и Алешка в тарантасе.

— Поймали? — спросил Сергей Ильич.

— Как видишь.

— Ну-ка, дайте взглянуть, что за птица?

— Погляди, погляди... Ваш крестник, можно сказать, — оскалил широкие зубы Платон.

Сергей Ильич грузновато перегнулся через крыло тарантаса, равнодушно оглядел кривого.

— Вишь ты, какой худущий и одноглазый. Злой, надо быть... Он не один что ли был?

— Нет, у него дружки оказались. Окружили их, да только взять не могут. У тех ведь винтовки.

— Как бы они казаков пулями не переметили.

— Авось, сойдет, бог милостив. Стрелки они аховые. Разве случайно в кого влепят... А ты бы, Сергей Ильич, взял да увез этого субчика в Завод. Из-за них людей наряжать в станицу будут, а время рабочее. Тебе же оно за попутье.

— Еще чего не выдумаешь? — накинудся на него Сергей Ильич. — Не мое это дело. Веди его лучше к надзирателям. Сейчас только по улице двое проехали — Прокоп Носков и еще какой-то. Они, поди, этих самых волков и разыскивают.

— Ну, тогда об чем говорить! Сейчас его сдам с рук на руки.

— Веди, веди... Ну, Лешка, давай, трогай. И так мы с тобой опаздываем.

Х

Прокоп и Сазанов, возвращаясь в Горный Зерентуй, на обратном пути сговорились заехать в Мунгаловский.

Подъезжали они к поселку солнечным утром. У дороги ярко зеленели всходы пшеницы. В текучей синеве звенели жаворонки, над сопками парили орлы.

От ворот поскутины надзиратели увидели в улицах непонятную суматоху. Первая же встречная казачка сказала им, что ловят беглых каторжников. И словно в подтверждение ее слов от Драгоценки долетела гулкая в утреннем воздухе беспорядочная стрельба. Она показалась им совсем близкой. Оба они были уверены, что вернутся в Горный Зерентуй без всяких происшествий. Они разочарованно свистнули, поглядели друг на друга и, не сказав ни слова, поскакали на выстрелы. Служба требовала принять участие в поимке каторжников. Проезжая мимо улыбинского дома, Прокоп увидел на крыльце Андрея Григорьевича, глядевшего из-под

руки на Заречье, откуда доносились выстрелы. Он остановился. Сняв с головы фуражку, поздоровался.

— Здорово, здорово, надзиратель, — недружелюбно отозвался Андрей Григорьевич.

На том берегу Драгоценки, в заросшем лопухами русле старицы, лежало и сидело человек пятнадцать мунгаловцев. Они лениво переговаривались и без конца курили. Прокоп и Сазанов спешились, перекинулись с ними парой слов и, низко пригнувшись, стали пробираться старицей к болоту. За ними увязался Никула Лопатин, досаждая Прокопу всевозможными вопросами. «Вот привязался, и выберет же времячко», — подумал про него с раздражением Прокоп. Но чтобы Никула не подумал, что он трусит, Прокоп поддерживал с ним разговор. Так добрались они до изгиба старицы, где на склоне пологого каменистого берега, в какой-нибудь сотне шагов от засевших у болота каторжников, лежал с казаками Каргин. Он уговаривал их броситься на каторжников, у которых по его расчетам все патроны были расстреляны и их легко было захватить живьем. Но казаки угрюмо отмалчивались. Они не хотели рисковать собой. Они жалели напрасно потерянный день и требовали, чтобы Каргин поскорее отпустил их домой. Громче всех выражал свое недовольство Епифан Козулин, сидевший под суковатой березой.

Увидев надзирателей, сопровождаемых Никулой, Каргин обрадовался. С надзирателями дело должно было пойти скорее. Он весело приветствовал их и сразу же начал объяснять обстановку.

— Каторжники прижучены к болоту и окружены. Их всего двое. — Он показал сперва на кочки, за которыми каторжники отсиживались, потом на кусты вправо, где сидели другие казаки. После этого принялся жаловаться Сазанову, в котором увидел старшего, на посельщиков. Епифан, услышав его слова, злобно сказал:

— На чорта сдалось нам подставлять свой лоб. Жалованья нам за это не платят. Вот с надзирателями и пробуй беглых живьем забирать. Эти люди к тому и приставлены. А наше дело — десятое. Нам стараться не из-за чего.

Казаки, хитренько посмеиваясь, подмигнули друг другу и усталились на Прокопа и Сазанова откровенно враждебными глазами. Каргин попробовал было прикрикнуть на них, но только пуще разжег их. Казаки все вдруг обрушились на него и надзирателей. Даже Никула и тот не отставал от них. Ухмыляясь, он заявил, что посмотрит, как будут кланяться пулям надзиратели. Неожиданное нападение Никулы, еще минуту тому назад настроенного дружески, окончательно

смutilo Прокопа. Он почувствовал, как кровь прилила у него к лицу. Он вопросительно взглянул на Сазанова. Тот в растерянности поигрывал винтовочным ремнем, исподлобья оглядывая казаков. Встретив взгляд Прокопа, Сазанов мотнул ему головой и решительно полез из старицы на берег. Он надел на дуло винтовки фуражку, размахивая которой, поднялся во весь рост и стал кричать каторжникам, чтобы они сдавались. В ответ с болота выстрелили. Пуля щелкнула о камень-окатыш у него между ног и рикошетом ударила в ствол березы, под которой сидел Епифан. Лоскут оторванной пулей бересты упал Епифану на голову. Епифан живо скатился вниз и, припав к земле, принялся ощупывать голову, косясь на березу. Казаки, увидев, что Епифан невредим, но синие штаны его порваны на коленях, принялись хохотать.

Сазанов, шарахнувшись от пули, упал за куст и, втягивая голову в плечи, пополз вперед. Прокоп понял, что его товарищ готов теперь на все. Понял это и Каргин. Не сговариваясь, поползли они с Прокопом вслед за Сазановым, который, ожесточенно двигая локтями, перебирался от кочки к кочке. Когда до каторжников осталось шагов пятьдесят, он снова крикнул:

— Эй, на болоте!.. В последний раз предлагаем сдаться.

Оттуда крикнули:

— Если жить хочешь, так не лезь. Живо черепок продырявим...

По голосу Прокоп узнал, что на болоте отсиживается Яшка Сохатый, самый отпетый из зерентуйских «иванов», бегавший с каторги четыре раза и приговоренный в общей сложности к пятидесяти годам. Прокопу сразу вспомнилось столкновение Яшки Сохатого с политическими из-за тюремной кухни. На кухне хозяйничали долгое время «иваны», признанным главарем которых был Сохатый. «Иваны» перед обедом вылавливали из котла все мясо, оставляя политическим только кости. Наживались они за счет политических и при разделе хлебных пайков. Хлеб раздавали дежурные из уголовных. Все они ходили перед Сохатым по одной половине, и слова его были для них законом. Он заставлял дежурных выдавать ему и его компании двойные и тройные порции, которыми торговал потом в открытую. Так продолжалось до тех пор, пока не пригнали в Горный Зерентуй черноморских матросов, осужденных за участие в революционных событиях девятьсот пятого года. Матросы решили отобрать у «иванов» кухню. Добрая половина политических запаслись ножами и во главе с матросом Миколой Богатырчуком при возвраще-

нии с прогулки ворвались в кухню, переполненную «иванами», которые уже знали, что им придется с боем отстаивать свои права, быть в ней хозяевами. У каждого из них был нож или кистень. Сохатый, размахивая длинным ножом, крикнул: «Режь политику!» и первый кинулся на Богатырчука. Ударом ноги уложил Богатырчук Сохатого на каменный пол кухни, вырвал у него нож и бросил его в сито, висевшее на стене. Нож пробил сито на самой середине и глубоко вошел в стену. «Иваны», увидев поражение Сохатого и ловкость, с которой владеет Богатырчук ножами, сдались и удалились из кухни с позором. Два раза после этого нападал Сохатый на Богатырчука, но каждый раз получал достойный отпор. Только после этого он присмирел и научился уважать политических. Потеряв свой авторитет главаря, и решился, повидимому, Сохатый на новый побег. Он знал, чем грозило это ему в случае поимки. Поэтому Прокоп был твердо уверен, что Сохатый живым не сдастся и предупредил Сазанова:

— Тут Яшка Сохатый... Не подымай головы, не рискуй.

— Знаю... Да только у него патронов нет. Иначе бы он давно выстрелил, — откликнулся Сазанов, продолжая продвигаться вперед. Но Прокоп на всякий случай взял на прицел то место, где скрывался Сохатый.

А Сохатый в это время судорожно шарил у себя в карманах, надеясь найти случайно сохранившийся патрон. Но в карманах было пусто. Тогда он выругался и с ожесточением швырнул в сторону ненужную винтовку. Затем поднялся над кочками во весь свой немалый рост, и, разрывая на груди рубаху, пошел на Сазанова с истерическим криком:

— На, гад, стреляй! Не скрадывай! Не скрадывай, как селезня, а бей на месте, сучий сын.

Сазанов вскочил на ноги, прицелился в Сохатого:

— А ну, подыми руки. Все равно скрутим.

— Не дамся! — бил себя кулаками в грудь и продолжал идти на него Сохатый.

— Сдавайся, чего уж теперь. Игра твоя проигранная, — попробовал уговорить его Сазанов, отступая назад.

— Задушу тебя, волчья сыть, тогда и сдамся, — с пеной на губах прорычал Сохатый и кинулся вперед. Сазанов подпустил его вплотную и преспокойно выстрелил. Сохатый сделал еще два шага, покачнулся и упал ничком в болотную ржавчину. В горле его забулькало, захрипело. Тело несколько раз дернулось и вытянулось.

Подбежавшие мунгаловцы, увидев, что каторжник мертв, приумолкли, стали снимать с голов фуражки и креститься

На надзирателей в этот миг большинство из них глядело угрюмыми, осуждающими глазами. А Епифан Козулин сказал Сазанову:

— Для тебя, видать, человека убить, что курицу зарезать. Наловчился.

Сазанов огрызнулся:

— А что же мне, по-твоему, делать было?

— Да уж только не убивать. Никуда бы он не девался...

— Ладно, помолчи. Я свою службу исполняю.

— Сдох бы ты с твоей собачьей службой, — бросил Епифан и, плюнув, отошел от него.

В суматохе все забыли про второго каторжника, давно стоявшего среди кочек на коленях с поднятыми вверх руками. Руки его тряслись, зубы выбивали дробь. Когда о нем вспомнили, и Прокоп стал подходить к нему, он взмолился:

— Сдаюсь. Не убивайте.

— Не убью, не бойся. А только добра тебе теперь мало будет. Если не заперют на кобылине, то на удавку вздернут... Пойдем давай.

Каторжник поднялся. Попробовал итти, но ноги его подкашивались. Тогда он попросил Прокопа:

— Дал бы закурить мне. Может силы у меня прибавятся. Я ведь трое суток корки хлеба не видел.

— Бегать не надо было. Иди, иди... — и Прокоп начал подталкивать его прикладом винтовки.

* * *

Назавтра Андрей Григорьевич на верстаке под сараем долго обтесывал и выстругивал лиственничные брусья — один потолще и подлиннее, два покороче и потоньше. Потом сколотил из этих брусьев шестиконечный крест и врезал в него маленькое медное распятие. Покончив с работой, кликнул из избы Романа и Ганьку.

— Унесешь на себе за речку? — спросил он Романа, показывая на крест.

— Донесу. А зачем только нести его туда?

— Там русского человека убили. Братская кровь там пролилась. Вот и поставим мы крест на той крови, по старому христианскому обычаю.

— А не нагорит за это от атамана?

— Пускай нагорает, а крест я поставлю.

Не сказав больше ни слова, поднял Роман на плечо крест. Ганьке Андрей Григорьевич приказал взять лопату, и пошли они гуськом за речку. Впереди шел, опираясь на су-

коватый посох, старик, за ним Ганька, а за Ганькой тяжело ступал Роман с крестом на плече.

Среди зеленых болотных кочек, где густо цвели яркие желтые цветы болотной калужницы, поставили Улыбины этот простой деревянный крест на месте убийства Сохатого. И долго стоял он там, навевая печаль на сердце каждому проезжему и прохожему.

XI

Когда Чепаловы возвращались из Нерчинского Завода, у перевала к Мунгаловскому нагнал их станичный атаман Михайло Лелеков на взмыленной тройке. Он торопился куда-то по делу, — в руках его была насека в кожаном буром чехле. Поровнявшись, белоусый, невысокого роста, крепыш Лелеков прыгнул из тарантаса. Рысцой подбежал к Чепаловым, поздоровался за руку.

— Куда это гонишь? — полюбопытствовал Сергей Ильич.

— К вам, паря, в Мунгаловский. Гости нынче у вас будут. Надо насчет ужина и квартиры покумекать.

— Что за гости такие?

— Сам атаман отдела катит.

— По какой надобности он?

— Места осматривать будет. Если окажутся подходящими, так у вас в этом году шибко весело будет.

— С чего бы это?

— Летние лагеря устроят. От наказного из Читы распоряжение вышло. Будут казаков со всего отдела обучать.

— Гляди ты... Громкая новость... А насчет квартиры того... может у меня остановиться.

— Вот и хорошо. А я только хотел тебя просить.

— Чего же просить... Пожалуйста, с полным удовольствием.

— Значит, одна гора с плеч. Теперь только о встрече забота... Он ведь вот-вот будет. Распек меня нынче здорово. Поезжай, говорит, распорядись. Я через час после тебя выеду, поэтому, говорит, изволь поторопиться... Садись-ка, Сергей Ильич, ко мне да погоним. Алеха и один доедет.

— Поедем, поедем, раз такое дело...

Конные десятники переполошили поселок от края до края. Вскоре у окон чепаловского дома собралась большая толпа по-праздничному одетых казаков и казачек. Босоногие ребяташки громоздились на заплотах и крышах. Каргин с тремя георгиевскими крестами на черном долгополом мун-

дире выстраивал почетный караул из отборных здоровяков. Правифланговым стоял в карауле Платон Волокитин, выпячивая крутую могучую грудь. Рядом с ним поглаживал лихо закрученные кверху усы Епиха Козулин. За Епихой — исподлобья оглядывал публику Герасим Косых в каракулевой папахе с чужой головы. Возле него покашливал, прочищая глотку, бравый Петрован Тонких. Дальше хмуро отворачивались друг от друга два давних недруга — Никифор Чепалов и Семен Забережный.

Далеко за Драгоценкой, на выезде из березового леса, у седловины пологого перевала взвихрилась густо пыль и лениво поползла над дорогой.

— Едут! — дружно вырвался из сотни глоток крик. Черными маленькими мячами катились далекие тройки под гору.

— Мать моя, сколько их! — изумился Никула Лопатин, — одна, две, три, четыре... — начал считать он вслух.

— Помолчал бы, — огрызнулся на него Каргин. Скрипнув сапогами, обратился он к караулу, сказал не своим, умоляющим, голосом:

— Ну, посёльщики, держись. Не подкачай, посёльщики...

— Да уж постарайся, — ответил за всех Платон.

Последняя тройка спустилась в речку, перемахнула на этот берег и замельтешила по улице. Скороговорка колокольцов донеслась оттуда.

Каргин запел срывающимся голосом:

— К-а-р-а-у-л... — и, помедлив, оборвал. — Смирно!

Замерли казаки, ойкнули приглушенно казачки. Рыжебородый красавец кучер в голубых широченных штанах с лампасами круто осадил лихую тройку, запряженную в щегольской, на рессорном ходу тарантас. Розоватые хлопья пены упали из разодранных удилами конских ртов. Вздрыгнули последний раз колокольцы под дугой. Михайло Лелеков с рукою под козырек подскочил к тарантасу. Грузноватый, с генеральскими молниями на погонах атаман отдела Нанквасин поднялся ему навстречу. Пухлой рукою протирая пенсне, выслушал рапорт, бросил:

— Хорошо, хорошо...

Невидящим взглядом скользнув по толпе, Нанквасин шагнул к почетному караулу:

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — зычно гаркнули в ответ. Слова слились, и получилось несуразное, грохочущее, совсем как у чепаловского волкодава.

— Молодцы, братцы!

И снова дикий вопль:

— Рады стараться!..

В воротах, низко кланяясь, встретил Нанквасина хлеб-бом-солью на узорном подносе Сергей Ильич. Нанквасин милостиво поздоровался с ним за руку и прошел в дом. Вечером толпился у распахнутых настежь чепаловских окон казачий хор. Грозный гость потребовал песенников. Набралось их человек шестьдесят, добрая половина из которых не пела.

Платон Волокитин, заложив руку под щеку, запевал:

Во Квантуне так, братцы, ведется, —
Пей — ума не пропивай.

И сильные голоса подхватывали тягучее, выстраданное:

Кто напьется, эх да попадется —
На себя тогда пеняй.

И лилась, звенела, брала за сердце родившаяся на кровавых маньчжурских полях грустёба-песня. Хорошо ее пели мунгаловцы. Пригорюнился у набранного стола Нанквасин, поник головой, растроганный задушевной песней. Сергей Ильич расщедрился. Песенникам подали по стакану водки. Выпили они, крикнули, прокашлялись и весело завели разгульное, подмывающее пуститься в пляс:

Ах вы, сашки-канашки мои,
Разменяйте бумажки мои,
А бумажки все новые,
Двадцатипятирублевые.

Не вытерпел Петрован Тонких, хлопнул в ладоши и волчком закрутился в лихой присядке. Оживились казаки и грянули пуще прежнего.

С юга шла гроза. Частые молнии доходили до самой земли. При каждом блеске их на мгновение становились видными курящиеся вершины далеких сопок, тальники на берегах Драгоценки. Мягким зеленоватым светом заливало притихшую улицу. И, когда умолкали песенники, был слышен ворчливый гром и шорох речки на каменных перекатах...

Предвестники близкого ливня — передовые облака — за клубились над поселком. Как соколы в поединке, сшибались они в вышине, протяжно шумя. Громовые раскаты накатывались на поселок. Один по одному, торопливо покидали палисадник казаки, спеша заблаговременно попасть домой.

Утром атаман отдела, в сопровождении адъютантов Лелекова и Каргина, верхом на белоногой породистой кобы-

лице выехал вниз по Драгоценке. Осмотр не затянулся. Правобережная, сухая и широкая луговина за капустными огородами низовских казаков приглянулась Нанквасину. Целая дивизия могла бы раскинуть на ней полотняный город.

— Дальше нечего и глядеть, — сказал он старшему адъютанту сотнику Масюкову, — место идеальное. Воды и пастбища вдоволь. А у той горы, — показал он рукой в перчатке на заречную круглую сопку, — великолепное место для стрельбищ. Так что мой выбор решен. Остановимся на Мунгаловском... А скажите, поселковый, — обратился он к Каргину, — в засуху ваша речка не пересыхает?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— Значит, на этот счет нечего беспокоиться?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

— Станичный! — позвал Нанквасин

— Слушаю, ваше высокопревосходительство, — замер, привстав на стременах, Лелеков.

— Вашей станице выпала большая честь. Лагерь кадровцев четвертого отдела Забайкальского казачьего войска будет находиться в поселке Мунгаловском. Ваша обязанность — оказать всемерную помощь начальнику лагеря войсковому старшине Беломестных. Смотрите, чтобы никаких недоразумений.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, — styl в напряженной позе Лелеков.

На обратном пути атаманам попалась навстречу этапная партия. Человек шестьдесят каторжан, позвякивая ножными кандалами, понуро топтали прибитую ливнем дорогу. Солдаты в черных с малиновыми кантами бескозырках окружали их. Впереди на гнедом низкорослом коне ехал начальник партии, немолодой поручик. Он едва успел (посторониться и отдать честь атаману, смущенный и мешковатый. Бородатые, бледные каторжане равнодушно оглядывали атамана и не хотя сворачивали, при его приближении, с дороги.

— Куда? — спросил он, проезжая мимо поручика.

— В Горный Зерентуй. Партия политических. Ведет поручик конвойного батальона сто четырнадцатой дистанции Петров четвертый...

Забрызганные грязью клячи тащили за партией две телеги с немудрящим арестантским скарбом. На одной из телег, кутаясь в серый бушлат, дрожал в лихорадке изможденный каторжанин с открытым и умным лицом. При каждом толчке его лицо кривила судорога, сквозь стиснутые зубы вырывался хриповатый стон.

Над полями тихо реял вечерний золотой свет. От сопотянулись тени, перебежав прибитую вчерашним дождем дорогу. На закате в полях пахло молодым острецом и мышинным горошком. В придорожных кустах заливались щеглы и синицы, звонко куковали беспокойные кукушки. По дороге ехали с пашни Улыбины. Помахивая сыроватым кнутом на потного Сивача, сутулился на облучке телеги Северьян, туго подпоясанный черным тиковым кушаком. На кушаке у него болтался в берестяных ножнах широкий нож с костяной рукояткой. Солнце золотило широкополую соломенную шляпу Северьяна, из-под которой торчал тронутый сединой клочок волос. За пыльной телегой, шумно и мерно вздыхая, скрипели ярмом быки, легко тащившие поставленный на подсошники плуг с начищенной до сияния шабалой. На чапыгах плуга из порожних мешков устроил себе сиденье курносый Ганька. Подражая глухому баску отца, он старательно покрикивал на быков. Немного поодаль в надвинутой на самые брови фуражке ехал верхом Роман с дробовиком за плечами. Мошकारа, подобно дымку, вилась над его головой, тонко и нежно звеня, как замирающие вдали колокольцы.

Полноводная пенистая Драгоценка у брода весело шумела, подмывала высокий левый берег. На берегу сидел Никула Лопатин. Охалка свеженарезанного лыка лежала возле него. Он посасывал трубку и сплевывал в воду.

— Здорово, — приветствовал его Северьян.

— Здорова у попа корова, — оскалил Никула зубы. — Помоги, паря, моему горю, — перевези меня на тот берег. Оно можно бы и в брод, да ног мне мочить невозможно. У меня ревматизма, а с ней, елки-палки, шутки плохие. Не поберегся я нынче, и так она меня скрутила, что хоть Лазаря пой.

— Садись, — оборвал его Северьян. — На эту-то сторону как попал?

— Через плотину, у епихиной мельницы. Переходить там способно, да ведь это, елки-палки, у чорта на куличках, а мне недосуг.

Не успев еще сесть как следует, запыхавшийся Никула снова зачастил:

— Теперь, паря, у нас дела пойдут.

— Какие дела?

— А с лагерем. Атаман отдела заявил, что лучше наших мест и искать нечего. Наедет к нам скоро народу тыщи две, а то и все четыре. Словом, елки-палки, знай держись.

— Радости тут мало.

— Ну и сказал же... Голова садовая, лагерь-то строить надо. Заработки теперь у нас будут.

— Век бы их не было, этих заработков. Зря ты до поры до времени радуешься.

— Да я не радуюсь, а так, к слову. Трогай, что ли...

— Ромку надо подождать. Быков на поводу перегонять будем, они у меня, холеры, капризные.

Роман взял концы волосяных налыгачей, надетых на бычьи рога, намотал их вокруг руки и стал тянуть упирающихся быков в воду. Сзади на них покрикивал Ганька. По-капризничав, быки шагнули в воду и, припадая к ней на ходу, перебрались за Романом на правый берег. Вслед за ними переехали и Северьян с Никулой.

Никула слез с телеги, взвалил на плечи золотистое лыко и заковылял по заполью к своей избе, крикнув на прощанье:

— Бывайте здоровы!

Роман свернул с дороги в кусты, пониже брода.

— Ты это куда? — спросил отец.

— Искупаться хочу.

— Да кто же сейчас купается? В момент простуду схватишь.

— Ничего, я только раз нырну. Вы поезжайте, я живехонько догоню вас.

— Ты только в омут-то не лезь, там при такой воде живо закрутит.

— Ладно!

Роман разделся и, подрагивая, забрел в речку. Розовая от заката вода смутно отразила его, то неправдоподобно удлиняя, то делая совсем коротким, похожим на камень-голяк. Пузырчатая серебристая пена кружилась в непроглядно-черной воронке омута под дальним берегом. Обломок берестяного туеса летал среди пены, изредка показывая крашеное красное дно. Плыть туда Роман не захотел. Присев три раза по плечи в воду, он умылся и освеженный вышел на прибрежный песок. Подымаясь по проулку в улицу, Роман повстречал Дашутку. Она гнала от Драгоценки табунок белоногих телят, помахивая хворостиной. Роман наехал на нее конем:

— Посторонись!

Дашутка вздрогнула и отскочила к плетню.

— Здравствуйте, Дарья Епифановна, — раскланялся он, сняв фуражку.

— Испугал, а потом здороваешься. И откуда ты, чертяка, взялся?

— С пашни. А ты тут чего делаешь?

— Цветки рву. Не веришь? Шибко тебе тогда от Алешки попало?

— Так попало, что Сергей Ильич приезжал на меня жаловаться.

— Смелый, так приходи нынче на завалинку к Марье Поселенке.

— И приду, не побоюсь.

— А мамаша тебя пустит?

— А ты лучше у своей спроси, а обо мне не беспокойся. Я в куклы не игрывал.

— Поглядим, как пятки тебе наши парни смажут.

— Как бы им не смазали... Ты куда торопишься?.. Постой, поразговаривай.

— Коровы у нас недоены. Дома ругаться будут.

Роман нагнулся, схватил ее за полную смуглую руку, придушенно шепнул:

— Постой...

— Разве сказать что хочешь? — пристально взглянула Дашутка в опаленное румянцем лицо Романа.

Он рассмеялся:

— Дай подумать. Может и скажу...

— Ну, так думай, а мне некогда, — вырвалась от него Дашутка и легко перескочила через скрипучий невысокий плетень. Алый платок ее промелькнул в козулинском огороде и скрылся за углом повети. Роман поглядел ей вслед, гикнул на Гнедого и поскакал, счастливый, по улице. Горячая радость переполняла его. Дома уже садились за ужин. Мать ставила на стол щи и кашу в зеленых муравленных мисках. Отец встретил Романа выговором:

— Пошто наметом летел? Волки за тобой гнались? Доберусь я как-нибудь до тебя... Ешь давай, да иди коням сечку делать.

Теплая июньская ночь легла на поселок. На молодой месяц, стоявший прямо над улицей, изредка наплывали легкие опаловые облачка. Немолчно баюкала прибрежные кусты Драгоценка, лениво перекликались собаки да вскрикивали спросонья по темным нашествиям куры.

Накинув на плечи шерстяную, домашней работы куртку, Роман вышел на улицу. Напротив, в окне у Мирсановых, тускло светился огонек ночника. «Позову Данилку», — решил он и трижды свистнул условленным свистом, вызывая друга. Данилка не отозвался. Тогда он подошел к окну, тихо постучал в крестовину рамы.

— Кого тебе, полуношник, надо? — распахнув окно, спросила данилкина мать Маланья, романова крестная.

— Данилка дома?

— Дома, да только спит давно. Ужинать даже не стал, так умыкался за день. А куда тебе его?

— Да надо.

— Не добудиться его, иди ужотко один.

И Маланья под самым его носом захлопнула окно. Роман постоял, переминаясь с ноги на ногу, решая — идти или нет. «Была не была — пойду. Волков бояться — в лес не ходить», — и он размашистым шагом направился вверх по улице. На лавочке у ограды Платона Волокитина сидели верховские парни. Не узнав Романа, они окликнули его:

— Кто это?

По голосу Роман узнал Федотку Муратова. От этого голоса сразу заползали по спине мурашки. «Вот влип», — подумал он, но прошел, не прибавив шага. Федотка пустил ему вдогонку:

— Женатик какой-то. Отвечать, сука, не хочет. Леня подыматься, а то бы мы...

На плетневой завалинке Марьи Поселенки, смутно белея, сидели верховские девки. Парней возле них не было. Девки пели. Агапка Лопатина сильным грудным голосом заводила:

Укатись, мое колечко,
Под крылечко...

И десяток высоких девческих голосов подхватывал:

Укатись, мое витое,
Под крытое...

Роман подошел, негромко поздоровался.

— Да это никак Ромаха? — удивилась Агапка, — каким ветром тебя занесло? — и сама толкнула в бок Дашутку.

— На песню поманило.

— И не побоялся, что попадет?

— Я не из трусливых.

— Пока Федотки поблизости не видать, — сказала Дашутка и громко захохотала. Агапка напустилась на нее:

— Подвинься-ка лучше, чем измываться. Садись, Ромаха, с нами рядком и потолкуем ладком.

Роман втиснулся меж ними. Незаметно нащупав дашуткину руку, крепко пожал ее. Дашутка на пожатие не ответила, но и руки не вырвала. Прижимаясь к Роману, Агапка спросила:

— Петь с нами будешь?

— Буду. Давай, заводи, — а сам, взволнованный и счастливый, то пожимал, то ласково гладил покорную дашуткину руку, и пока Агапка спрашивала у девок, какую песню заводить, он шепнул, прикоснувшись к жаркому маленькому уху Дашутки: — Пойдем куда-нибудь?

— Подожди, — почти беззвучно шепнула Дашутка.

Дружно пели, звеня серебряными бубенчиками, проголосную песню девичьи дрожливые голоса. И далеко-далеко летела она в синюю ночь, к расплывчатым очертаниям хмурых сопок, к желтоватому мутному месяцу. Пела Дашутка, пел Роман, вплетая свои голоса в согласный и сильный поток других голосов. Вдруг Дашутка вздрогнула и замолчала. Потом тревожно шепнула Роману:

— Уходи скорей. Парни идут.

— А ты? Пойдем вместе.

— Иди, иди... Подождешь меня у нашей ограды. Я скоро.

Роман незаметно поднялся и юркнул в тень от заплота. Вдоль заплотов, от дома к дому, дошел до ограды Козулиных, притаился у калитки. Мимо него провалили верховские, горлая на весь поселок.

Дашутка пришла запыхавшаяся, взволнованная.

— Насилу вырвалась от Алешки. Привязался, постылый, и не пускает.

У Романа радостно встрепенулось сердце: постылый, а кто же милый? Ему захотелось сказать ей нежное слово, но вместо этого он совсем некстати бухнул:

— Где сядем-то?

— А тебе кто сказал, что я сидеть с тобой буду?

Он увидел, как в бледном месячном свете полыхнули ее глаза — темные-темные, и надменно выгнулись над переносьем тонкие брови.

— Да ты хоть недолго, — попросил он...

Дашутка взялась за кольцо калитки.

— В другой раз... Утром мне подыматься чуть свет.

У него сокрушенно сорвалось:

— А я думал...

— Скажи, если не секрет, о чем думал? — придвинулась к нему Дашутка. По губам ее бегала улыбка, руки теребили полушалок.

— Давай сядем, тогда скажу.

— Не обманешь?

— Нет, — судорожно выдавил он и тихо, но решительно привлек ее к себе. — Пойдем.

Они уселись на лавочке возле калитки. Старый, развесистый тополь протяжно и тихо лопотал над ними.

— Ну, говори...

Запрокинув голову, она глядела ему в лицо, напряженно ждала, до боли прикусив губы. Совсем по другому он ощущал в этот миг ее близость. Бурно вздохнувши, Роман решил:

— Люба ты мне, вот что, — выпалил он, собираясь с силами и припал губами к ее пахнувшей ландышевым цветом щеке. Дашутка не оттолкнула его.

Круглые опаловые тучки набегали на месяц, клубилась настоящая на травах теплая мгла, дремотно покачивался и баюкал их тихой песенкой старый тополь. Они не слышали, как, предвещая грядущий день, дохнул из туманных низин прохладой ветерок-раностав, как неуверенно крикнул неподалеку первый петух и смолк, прислушиваясь. Где-то на Подгорной улице бойко ответил ему другой, сразу же заглушенный пронзительным голосом третьего, и скоро заревой переключил петухов закипел по всему поселку. Короткая ночь пошла на убыль. Смутно обозначились крыши домов, деревья, заплоты. Дашутка опомнилась первой, протяжно ойкнув, сказала:

— Пусти... На дворе совсем светло. Увидят нас тут с тобой — житья потом не дадут.

— И взаправду светло, — удивился Роман. — Вот диковина. Ну, поцелуй еще раз на прощанье...

— Хватит... Рома... — Она бесшумно растворила калитку и уже из ограды сказала: — Иди, иди. Увидят ведь.

— Где теперь встретимся?

Дашутка рассмеялась:

— Была бы охота, а место найдется. Иди, не торчи тут, окаянный...

Он отвернулся, пошел. Тогда она крикнула:

— Постой!

Догнав, порывисто обняла она крутую шею Романа, поцеловала его прямо в губы коротким поцелуем и, и не оглядываясь, побежала в ограду.

XIII

Через два дня приехали в Мунгаловский войсковой старшина Беломестных и несколько офицеров с женами. Поселились они у справных казаков Подгорной улицы, наполнив беленые горенки запахами душистого мыла, одеколona и турецкого табака.

По вечерам выходили приезжие на прогулку. Поскрипывали на улице щегольские офицерские сапоги, тоненько вы-

званивали шпоры, как овечьи копытца, тупо постукивали о дорогу дамские каблучки. Сумерничая на прохладных зава-
линках, с завистью любовались казачки диковинной их одеж-
дой, жадно вслушивались в чужой, не казачий, говор.

А на луговине, где радовался короткому лету лазоревый
курослеп, кипела работа. Строили там столовую, пекарню и
кухню. Погромыхивая телегами, нагрудили скоро туда мун-
галовцы горы кудрявого тальника, красноватой липучей гли-
ны, смолистых бревен и камня-бутовика. На высоких козлах,
пластая на плахи кондовые бревна, от зари до зари работали
босоногие пильщики, косо кропили землю золотистым дож-
дем опилок. Широкие плотницкие топоры сверкали, как звез-
ды. Бородатые печники в брезентовых фартуках месили в
измазанных известью ящиках глиняное тесто.

В неделю выросли на луговине плетневые приземистые
бараки, крытые желтым тесом. Снаружи их обмазали глиной
и побелили. Приняли бараки самодовольный праздничный
вид. Окопанные канавами для стока воды, устланные по под-
ножью плюшевым дерном, разбежались вокруг барачных па-
латки. Белое полотно их хлопало на ветру, как птичьи
крылья. Казалось издали, будто вывел гусак с гусынями на
замшелую заводь свой шумный многочисленный выводок.

Весело похаживал в эти дни по просторному дому Сергей
Ильич, позвякивая связкой ключей. Немалые выгоды сулил
купцу этот год. Ежедневно наведывались приезжие в мага-
зин, легко сорили деньгами. И, принаряженный в чесучевую
пару, Сергей Ильич мелким бисером рассыпался перед ними,
низко кланяясь и улыбаясь.

Без особого огорчения узнал он, что облюбованный им в
Заводе магазин достался другому. Продала его купчиха раз-
богатевшему скотоводу. Сообщил эту новость отцу вернув-
шийся с базара Никифор. Он ждал, что отец разгневается,
обложит купчиху матерщиной, а потом будет долго ходить
чернее тучи. Но Сергей Ильич спокойно выслушал сына.

— Продала, говоришь? Ну и ладно... Надо будет, так
почище магазин отхватим. Только ноне оно так выходит, что
и здесь дела можно делать. Не будь только дураком, а день-
га повалит. От офицеров-то, смекай, отбою нет, и то им по-
дай, и другое.

Он помолчал, помахал ключами и заговорил глухо с хри-
потцой:

— Я вот думаю, не съездить ли тебе в Сретенск. Дней
за восемь обернешься, глядишь, пригрудить всякой всячины,
оно и набегит пятачок на копеечку.

— Набежать набежит, да ведь овсы сеять надо, — сказал Никифор, которому под уклон годов кочевая жизнь стала в тягость.

Сергей Ильич раздраженно махнул рукой:

— Вот затеял... С овсом и без тебя есть кому управиться, тут не дюже ум требуется. А ты магазином давай заворачивай...

Никифор недружелюбно поглядел на отца, и, зная заранее, что перечить ему бесполезно, нехотя спросил:

— А на скольких ехать?

— Да четырех надо гнать. Ежели тракт ноне хорош — сто пудов наверняка пригрудить.

— Не мало ли? Лучше уж один раз намучиться, чем потом сызнова ехать.

— Пока и этого хватит, — ответил Сергей Ильич, — а дальше там видно будет, что и как... Только ты того... Не злобствуй. Тут дело, а не пустяки. Сам знаешь, что Арсю с Алешкой не пошлешь, не способные они к купечеству.

— Знать-то знаю, только жить по-цыгански надоело.

Сергей Ильич расхохотался:

— Вот еще новости... Какая тебя муха укусила, с чего забрыкал? Ты смотри, парень, не придуривай. В нашем деле не приходится на печке лежать. Тебе пора это на ус наматывать.

Утром Никифор с работником выехал в Сретенск.

* * *

...В воскресенье еще не обсохла на лугах роса, как из Нерчинского Завода, лихо наигрывая какой-то марш, нагрянула музыкантская команда. Ослепительно пылали на солнце зевластые трубы, обнимая чубатых здоровяков-трубачей, одетых в белые парусиновые гимнастерки. В поселковой церкви шла обедня. На зашарканной паперти и в ограде, среди кустов отцветавшей акации, толпились парни и девки, пришедшие себя показать и людей посмотреть. Девки приглушенно хихикали. Парни гуртовались в стороне, покуривали украдкой дешевые папиросы и отпускали по адресу девок крепко одобренные похабщиной шутки. При первых же звуках музыки и тех и других, как ветром, вынесло из ограды. Завидев нарядную девичью гурьбу, повеселели, приосанились музыканты и пуще дунули в трубы. Красные от натуги, не переставая до самого лагеря, упоенно трубили они, окруженные шумной толпой. Девки строили глазки музыкантам, парни кричали:

- Не надувайтесь!..
— Так и лопнуть можно!..
— Лопнете — сшивать не будем!..

К полудню взвод за взводом начали прибывать походным порядком кадровцы. Были тут и рыбаки и охотники с низовий Аргуни, низкорослые, скуластые скотоводы степных караулов, были и бородатые богатыри-староверы, потомки яицких соратников Пугачева, переселенные в дикую Даурскую степь.

У распахнутых настежь ворот поскотины встречал кадровцев на сером рослом коне войсковой старшина Беломестных. Наигранным басом он зычно здоровался:

— Здорово, станичники!

Сильными, черствыми голосами, вразнобой отвечали ему кадровцы, молодцевато избоченясь в скрипучих седлах, подбадривая нагайками потных копей...

Вечером собрались мунгаловцы на открытие лагеря...

В тусклой оранжевой позолоте дымился закат. На лагерной площадке, посыпанной хрустким речным песком, с фуражками на локтевом изгибе левой руки, томились построенные на молебен казаки. Алые блики заката жарко горели на ризах попов, на шелке дорогих хоругвей, на оружии и лакированных козырьках. Отслужив молебен, попы двинулись по лагерным улочкам и переулкам. После освящения лагеря, стали подводить кадровцев к кресту. Шли они пошатываясь, жарко дыша в подбрitye и прижженные солнцем затылки друг другу. Неуверенно ступали занемевшие, обутые в грузные сапоги, ноги. Приморившийся архиерей, часто помаргивая бесцветными глазами, совал им бронзовое распятие. Торопливо поцеловав крест, повертывались казаки кругом, и многие потом украдкой вытирали свои обветренные губы.

Взмахом затянутой в лайковую перчатку руки подал Беломестных команду. Ржавое облако залпа окутало выстроенную для салюта сотню, музыка заиграла гимн. И в то же мгновение развернулось над лагерем, захлопало на вечернем ветру трехцветное полотнище флага. Лагерь открылся.

Пожилых именитых мунгаловцев Беломестных пригласил через Каргина отведать в лагере щей да каши, посмотреть, как устроились на жительство служивые. Первым отозвался на приглашение купец Чепалов. Он одернул чесучевый пиджак и, важный, грузновато шагнул вперед, не сомневаясь, что в первую очередь приглашение относилось к нему. За ним, одетые в мундиры, обшитые желтыми галунами, двинулись богачи с Царской улицы.

Завистливыми глазами проводили их неприглашенные и отправились кто по домам, кто догуливать свое в Курлыченский переулочек к спиртоносам-контрабандистам.

А в лагере приглашенных накормили и напоили на славу. На прощанье Беломестных поиграл темляком серебряной шашки и сказал захмелевшим, чванливым гостям:

— Прошу не обессудить, дорогие гости... Чем богаты, тем и рады... Надеюсь, господа старики, что жить мы с вами будем дружно. В случае каких-либо недоразумений покорно прошу, — с достоинством поклонился он, — обращаться ко мне... Если вам будет угодно, в сенокос и страду наши люди могут изредка помогать вам. Имейте это, почтенные, в виду. А пока, — приложил он руку к козырьку, — разрешите откланяться...

...На туманной заре проиграл побудку трубач. И было далеко-далеко слышно, как пели казаки нестройно, тягуче «отче наш». Целый день босоногие казачата торчали на трухлявых плетнях огородов. Млея от радости, смотрели они на замысловатые игры взрослых — на учение в пешем и конном строю, на рубку лозы и скачку через барьеры.

Вечером в лагере снова играла труба. Усатый трубач замер на палевом фоне вечернего неба, высоко подняв золотую певунью-трубу. Протяжные звуки ее взволновали притихший лагерь. Из палаток густо высыпали казаки. Глухотопая коваными сапогами, городили двойной частокот шепет. Началась вечерняя поверка.

С тех пор и приучились мунгаловцы вставать и ложиться по лагерным трубам. Шумно и весело зажил поселок. Всякий погожий вечер принаряженные девки собирались у церковной ограды. Плясали и пели, «крутили любовь» с приходившими в отлучку кадровцами, забыв доморощенных ухажиров. Занятая работой мунгаловская молодежь, по неделям безвыездно жившая на заимках, гневно сучила кулаки на кадровцев.

Веселое забайкальское лето щедро раскидывало в падах все новые и новые цветы — желтый мак и бело-розовые марьяны коренья, фиолетовый пахучий бадьян и темно-голубые бубенчики лютиков. Глядели парни на это праздничное великоление земли и сильно тянуло их в поселок, на игрища, к девкам.

XIV

В семи верстах от поселка бьют из сопки незамерзающие ключи. Старые лиственницы с вороньими гнездами на макушках отражаются в них. Курчавый моховник, устилающий болотную зыбкую землю, купает в студеной воде свои блед-

ные листья. В тенистых чащах целый день беззаботно спуют и посвистывают полосатые бурундуки, в лохматых гнездах кричат сизокловые воронята, голубые и белые бабочки, сверкая как самоцветы, садятся на влажный моховник. Тишиной и прохладой встречают ключы человека.

Неподалеку от ключей, на пологом пригорке прикорнули в полынн зимовья. За зимовьями в березовом мелколесье разлогов — пашни. А далее к северу непроходимо легла без конца и без края тайга. Голубеют затянутые текучей хмарой россыпи горных кряжей.

Зимовья никогда не пустуют. Летом их коричневые от дыма и копоти стены утыкают пахучими травами и алой сараной косари. Зимой в них безвыездно живут со скотом работники поселковых богачей. К ним на огонек заезжают дровосеки и охотники, гоняющиеся по таежным распадкам за быстроногими косулями.

Надолго приехали Улыбины на заимку. Роман и Ганька пахали под пары старинную каторжанскую залежь, заросшую лиловым кипреем, густо испятнанную насыпями тарбаганьих нор.

Северьян работал в лесу. За кочкастым обширным ягодником голубицы рубил он осиновые бревна для телятника. По вечерам, с лицом, припухшим от укусов мошкары, возвращался усталый и довольный на заимку, принося в берестяном чумашке белые в рыжих крапинках грибы. Круто посоливши, жарили их Роман и Ганька на ярких углях огнища и лакомились ими вместо мяса.

Народу набилось в зимовья порядком. Жили скученно, грязновато, но весело. В сумерки с яростным треском пылал в огнищах звонкий и легкий сушник. На треногих таганах висели прокопченные котлы, похожие на черные казачьи папахи. Ужинали тут же под синим пологом неба. После ужина собирались в кружки и вели нескончаемые разговоры. В один из таких вечеров приехал на заимку Никула Лопатин.

— Здорово бывали, — поприветствовал он собравшихся у огнищ, снимая с лысеющей головы войлочную шапку-монголку. — Кто на постой пустит?

— Да хоть к нам пристраивайся, потеснимся как-нибудь, — отозвался Матвей Мирсанов, спуская в бурлящий котел галушки.

— Я, паря, ненадолго. Всего дела-то у меня дня на три, — продолжал Никула.

— Ты разве не пахать приехал?

— Где уж мне. Оно бы и надо хоть с восьмуху под пары заготовить, да на одной кобыле не шибко развернешься... Подрядился вот шаманскому приискателю Семиколенке жердей нарубить.

— Что ж, дело хорошее. Глядишь, красненькую и заробишь.

— Это-то правда, — согласился Никула и посмеялся над собой: — обернусь из куля в рогожку.

— Пристраивайся с нами чайку попить.

Никула взял из телеги кожаный в желтых заплатах мешок с харчем и подошел к огнищу. Северьян подвинулся, освобождая ему место рядом с собой. Скрестив под собой по-монгольски кривые ноги, Никула сел. Северьян протянул ему аляповато расписанную диковинными цветами деревянную чашку.

— Угощайся.

— Спасибо, паря, — принимая чашку, сказал Никула и, помедлив, спросил:

— На охоту-то ходите?

— Какая тут, к лешему, охота! — сказал Северьян.

Никула почесал накусанную комарами переносицу и похвастал:

— А я вот ружье с собой взял. Я тут живо косулю добуду.

Подошедший к огнищу Петрован Тонких показал в улыбке широкие зубы:

— Посмотрим, посмотрим...

— И смотреть нечего, — загорячился Никула, — солонцов тут вон сколько. А на солонцах косуля испокон веков водится. Да ежели ты хочешь знать, так я тут в прошлом году гурана подшиб. Здоровенный козел был, чистоганом три пуда вытянул.

Петрован снова расплылся в ехидной ухмылке.

— Гляди ты, выходит, чуть не с борова.

— А ты как же думал? Ведь ежели...

— Будет, будет, — отмахнулся, как от мошкар, Петрован. — Рассказал бы лучше, что дома нового.

— Какие там новости! Все по-старому. Только вот с девками сладу не стало. Каждый вечер с кадровцами, шиловостки паршивые, хороводятся. Не успеют коров подоить, как начинают наряжаться. Прямо стыд и срам. Я уж свою Агапку волосяными вожжами уму-разуму наставлял, чтоб не шаталась по игрищам. Ведь эти кадровцы настоящие кобели, не успеешь глазом моргнуть, как они из девки бабу

Это была демоверсия книги - Седых К.Ф. Даурия

С полной версией книги можно ознакомиться в нашей библиотеке по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ангарская, д. 34